



Часть пятая В ЧИНУ УЧИМЫХ

С некоторых пор князю-кесарю Ромодановскому прибавилось работы в Преображенском сыскном приказе. Приходилось во множестве подвешивать на дыбе московских людишек всяких чинов и званий, уличенных в том, что твердили они в кабаках и чужих домах на разные лады одну песню: дескать, связался царь с немцами, бражничает с ними да занимается одними потехами, а какое от этого может быть добро? Находились и такие смельчаки, которые лично подавали царю тетради, где было прописано, что в народе его поведение считают зазорным. «Надеялись и ждали, — сокрушался один такой подаватель, — что великий государь возмужает и сочетается законным браком, и тогда, оставя молодых лет дела, все исправит на лучшее, но он, возмужав и женись, уклонился в потехи, оставя лучшее, начал творить всем печальное и плачевное». Петра эти разговоры и тетради приводили в неистовую ярость. Болтунов и сочинителей велено было пытать и казнить принародно.

Но себе врать было незначем. Потехи и в самом деле опостытели. Петра тянуло за границу, куда его настойчиво звал Лефорт, но чем он сможет похвастать перед этой самой просвещенной Европой? Тем, что покалечил сотню потешных на маневрах? Стыдоба. Петру хотелось проверить свои полки в деле. Настоящем деле. Лефорт, словно беспечная нянька, чье повзрослевшее дитя наконец-то выплонуло соску и потянулось к отцовской сабле, с готовностью поддержал царя. Конечно, военная слава наиболее



приличествует молодому государю. Вот только с кем скрестить шпаги? О войне со Швецией нечего и думать, шведская армия — одна из лучших в мире. Кроме того, война со Швецией означает войну с Европой, которая в этом случае вряд ли приветливо встретит столь задиристого гостя. У Речи Посполитой много, очень много взято русского, и все это неплохо было бы вернуть. Однако с Польшей Московское государство связано союзным договором против турок. И чего лучше! Война с неверными — вот то, чему будет рукоплескать вся Европа. И в каком выгодном свете после бесславных походов Голицына предстанет молодой государь, победитель султана, перед своими подданными!



*Петр I в период
Азовских походов*

Петру это предложение понравилось. Лев Кириллович подробнее ознакомил его с обстановкой на южных рубежах.



Поводов для войны сколько угодно. Татары ежегодно опустошают Украину, и гетман Мазепа завалил Посольский приказ просьбами о помощи. О том, чтобы отпустить русский полон из Крыма, хан не желает и говорить. Да еще Иерусалимский патриарх Досифей жалуется, что султан отдал святые места французам-папезникам, а те отняли у православных Гроб Господень, половину Голгофы, церковь Вифлеемскую и святую пещеру, разломали все деисусы, раскопали трапезу, где раздаётся святой свет, — в общем, разорили христианство хуже, чем турки и арабы. Ввиду такой беды просит патриарх взять Иерусалим под высокую царскую руку. Одна загвоздка: воевать с турками придется в одиночку, так как Польша давно уже не воюет, а ведет постыдные переговоры с султаном.

Петру было все равно — в одиночку так в одиночку. Даже лучше. Тем больше славы. Лефорт думал так же.

Но куда направить удар? Гордон и Лефорт, посмотрев карты, указали Петру на маленький кружок в устье Дона — Азов. Почему именно он? Во-первых, потешные полки привыкли штурмовать крепости, а как они проявят себя в полевом сражении, неизвестно; во-вторых, сей город находится в значительном удалении от Крыма, и туркам будет затруднительно оказать ему помощь; наконец, это важный стратегический пункт — ключ к Азовскому морю.

Глаза у Петра загорелись. К морю! Конец разговорам, он идет под Азов.

Приготовления к походу велись в строгой секретности. В начале 1695 года думный дьяк объявил с Постельного крыльца всем стольникам, стряпчим, дворянам московским, городovým и жильцам — чтоб они собирались со своими дружинами в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметеву для военного промысла над крымским ханом. Об Азове не было сказано ни слова — для секретности. Весной 100-тысячная московская рать ушла к днепровским низовьям на соединение с Мазепой.

Чуть позже полки нового строя — Преображенский, Семеновский, Бутырский, Лефорт — и московские стрельцы выступили под Азов. Оба генералиссимуса, искусные в потехах, но бесполезные в деле, остались дома. Войско возглавили Автоном Головин, Гордон и Лефорт. Все дела решались в консилиии этих трех генералов не иначе как с согласия бомбардира Петра Алексева.



Накануне выступления Bombardir Piter отписал Апраксину в Архангельск: «Шутили под Кожуховом, а ныне под Азов играть идем»; дьякон Пахом-Пихай добавил: «Про твоё здоровье пьем водку и рейнское, а паче пиво».

В низовьях Дона, верстах в пятнадцать от впадения в море, издавна высился многолюдный крепкий город, известный еще до Рождества Христова как Танаис. Генуэзцы переименовали его в Тан, татары в Азов. В Средние века через него пролегал один из важнейших торговых путей, связывавших Европу с Азией. Но после того, как в 1475 году турки овладели Азовом, вытеснив из него генуэзцев, город потерял свое торговое значение и был обращен в крепость, преграждавшую выход донским казакам в море.

В 1637 году донцы атамана Осипа Петрова внезапным налетом взяли Азов и пересидели в нем несколько турецких осад. Весть о подвигах степных витязей достигла отдаленнейших уголков Европы. Но борьба была неравная, и казаки запросились под московскую руку. Царь Михаил Федорович, однако, не решился на войну с Турцией. Похвалив казаков за храбрость и верность, он велел им оставить Азов. Турки вошли в пустой город, охваченный пламенем.

Но за несколько лет Азов был превращен ими в еще более грозную крепость, с каменными стенами и башнями, бастионами и внутренним замком, окруженную валом и рвом. Выше по течению Дона, верстах в трех от города, турки возвели две каменные каланчи, перегородив реку цепью.

Вот под этой турецкой твердыней и расположилось в конце июня 30-тысячное войско бомбардира Петра Алексева: дивизия Головина на правом фланге, дивизия Лефорты — на левом, Гордона — в центре. Вечером, после общей молитвы, Петр черкнул краткую грамотку в Москву: «В день святых апостолов Петра и Павла, на их молитвах, яко на камени утвердися, несомненно веруем, что сыны адские не одолеют нас». За синими курганами садилось алое солнце. Над огромным русским станом багровою тьмой поднималась пыль; скрипели колеса повозок, ржали лошади, разгорались костры, пламена в дыму...

Грек-перебежчик рассказал, что турецкий гарнизон насчитывает 6 000 янычар, которыми командует Муртаза-паша. Весной



турки обновили укрепления: вычистили рвы, обложили стену дерном, усилили батареи; теперь еще и сожгли посадки, чтобы открыть местность перед городом.

На военном совете было решено вначале как можно теснее обложить крепость. 1 июля повели апроши к валу и приступили к возведению редутов и батарей. Через неделю открыли бомбардировку Азова. С первых же выстрелов в городе вспыхнул пожар, а 16-пушечная батарея бомбардира Петра Алексеева, который сам начинял гранаты и наводил орудия, обрушила большую караульную башню. Однако с моря к туркам прибыло подкрепление на двадцати галерах. Янычары легко тушили пожары и исправляли разрушенные укрепления, а турецкая конница рыскала вокруг русского лагеря, затрудняя подвоз припасов и продовольствия.

Чтобы облегчить снабжение армии, Гордон предложил овладеть каланчами, — тогда пищу и огнестрельный снаряд можно будет доставлять по реке. Кликнули охотников из казаков, пообещав смельчакам по десяти рублей. Набралось двести человек, которых усилили стрелецким полком. Ночью казаки прицепили к железным воротам ближней каланчи петарду. Прогремел взрыв, но ворота остались невредимы. Тем не менее стрельцам удалось расширить ломами одну из бойниц и проникнуть внутрь каланчи. Турки отстреливались около часу, бросали камни; потом сдались. Спасся только один янычар, сумевший переплыть на другой берег. Вторая каланча сопротивлялась недолго — турки покинули ее, как только казаки открыли по ним огонь из пушек.

Это произошло в понедельник 14 июля, на рассвете. А в знойный полдень, когда русский лагерь погрузился в послеобеденный сон, — обычай, которому русские не изменяли ни дома, ни в походе, — турки незаметно подползли к неоконченным траншеям на участке между дивизиями Гордона и Лефорта и внезапно набросились на сонных стрелецких часовых (это слабое место в расположении русских войск указал туркам голландский перебежчик Яков Янсен, который был принят в русскую службу самим Петром еще в Архангельске и так полюбился царю, что под Азовом состоял при нем неотлучно и был посвящен во все планы русского командования). Один из стрельцов был убит, другой с воплем побежал к 16-пушечной батарее Якова Гордона, сына генерала. В ожидании подкрепления Гордон-младший



трижды отбивал турок, но был всеми оставлен и, раненный, едва сумел избежать плена. Наконец отец пришел на выручку сыну, остановил бегущих и вернул батарею и траншеи. Но и к туркам подошло подкрепление. Внезапно развернувшись, янычары бросились на стрелцов Бутырского полка и обратили их в паническое бегство. Гордон-старший с трудом снова собрал их, однако никакими средствами не смог повести в атаку, пока не подошли гвардейские полки. После трехчасовой схватки русские все-таки вернули батарею, но турки увезли с собой несколько орудий, а остальные заклепали.

Взбешенный бомбардир Петр Алексеев объявил строгий выговор всем стрелецким полковникам. Гордон же считал, что многие, в том числе и царь, все еще не поняли разницу между потешными играми и войной. Вслух он об этом, конечно, не говорил, но в дневнике записал: «Все шло так беспорядочно и небрежно, что мы как будто шутили, вовсе не думая о важности дела».

Все же к концу июля удалось наладить общую канонаду всех батарей. Днем и ночью ядра и бомбы летели в город, разрушали дома, сбивали орудия; жителям пришлось укрыться в землянках. Однако и турки причиняли русским много вреда: их стрелки с длинными ружьями зорко следили с вала за русскими траншеями, и, если оттуда показывалась чья-нибудь голова, сразу следовал меткий выстрел. Так был убит инженер Альберт Мурлот, швейцарец. Тем не менее Петр ежедневно трудился в Марсовом ярме: ходил на батареи, копал траншеи, наводил орудия... «Пешие наклонясь ходим, — писал он брату, — потому что подошли к гнезду близко и шершней раздражили, которые за досаду свою крепко кусаются, однако и гнездо их помаленьку сыплется». Царь Иван радовался и благодарил Бога за то, что под нечестивым градом промысел идет дельно.

В русском лагере заговорили о штурме. На военном совете 30 июля Гордон сердито заметил, что о приступе помышляют те, кто о нем понятия не имеет, а думает о том, как поскорее вернуться домой. Лефорт обиделся. Чего еще ждать? Неприятель ослаб, не выдержит дружного натиска. Петр поддержал любимца. Пора, пора штурмовать осиное гнездо. Храбро, по-русски.

Снова кликнули охотников — рядовым обещали за каждое взятое орудие десять рублей, офицерам — особое вознаграждение. В солдатских и стрелецких полках желающих, однако,



не нашлось. Зато казаков набралось больше 2 000 тысяч; сказали, что, если понадобится, наберется и больше. В понедельник 5 августа они лихо взобрались на вал, но, не поддержанные стрельцами, были сбиты в ров. Из каждых трех охотников в лагерь вернулся лишь один.

Наутро на военном совете царило уныние. Гордону никто не возражал. Решили пока что продолжать минные подкопы.

Спустя две недели было получено известие от Шереметева и Мазепы о взятии ими четырех турецких крепостей. Воинство воспрянуло духом. В шатре Лефорта пир по этому случаю продолжался всю ночь, каждый тост сопровождался орудийным залпом. Шум в русском стане весьма переполошил турок, которые не сомкнули глаз в эту ночь.

В Петре проснулся дух соревнования. Он вновь начал торопить со штурмом. Между тем начавшиеся дожди заливали траншеи и подкопы. На участке Лефорта туркам удалось взорвать минную галерею; Гордон дошел почти до вала, но тоже был остановлен контрминой. Один Головин доложил, что подвел мину под самый бастион и что его рабочие уже слышат глухой шум наверху. Петр приказал штурмовать Азов со стороны его дивизии.

Перед рассветом полки собрались в траншеях, зажгли мину. Турки поспешно отошли с вала за внутренние укрепления. Но оказалось, что мина была заложена неудачно — бревна, доски, камни, выброшенные взрывом, попадали в наши траншеи и убили человек тридцать, в том числе двух полковников и подполковника, еще сотню стрельцов изувечили. Стена же осталась целой, осыпалась только часть вала. Штурм пришлось отложить. Земляными работами руководил Тиммерман. После этого случая войско потеряло всякое доверие к иностранцам.

Гордон меланхолически занес в дневник: «Вот уже третий несчастный для нас понедельник».

Новый штурм назначили на 25 сентября, на среду. Не помогло. Взрывом мины опять убило полковника и многих офицеров. Правда, на этот раз взобрались на вал, но бешеная контратака янычар во главе с самим агой заставила русских вернуться в лагерь.

Тем временем близились холода. В пустынной степи и на курганах черной листвой шелестел кустарник, по утрам схваченная заморозками трава хрустела под ногами, холодные волны



Дона тускло блестели под лучами бледного солнца. 27 сентября Петр распорядился снять осаду. Войско уныло потянулось на север. За Черкасском ударили морозы, люди и лошади гибли десятками. По ночам где-то рядом были волки, сбжавшиеся на пиршество.

22 ноября Петр торжественно вступил в Москву. Перед военачальниками везли трофеи — знамя с бунчуками и турка, скованного цепью, — много ли добра возьмешь с двух каланчей-то? В народе качали головами. Эге, царь Петр, видать, с султаном воевать — не кораблики строить, не под Кожуховом потешаться, не с немцами пировать! Прав покойный патриарх-то. Вот что бывает, когда командуют еретики над православными, волки над агнцами!

Неудача не обескуражила Петра. Что ж, поиграть под Азовом не получилось. Ничего не скажешь, крепкий город. Но взять можно. Можно взять.

В Москву Петр приехал с готовым планом нового похода. К союзникам, в Вену и Варшаву, поскакали гонцы с сообщением, что в будущем году под Азов отправится еще более многочисленное войско. Австрийского императора царь просил выбрать и отправить в Москву дельных инженеров.

Но главное — необходимо запереть доступ в Азов турецкой морской эскадре. А для этого нужен флот — десятки кораблей. В царевой компании засомневались, закачали головами, даже Лефорт недоверчиво присвистнул. Хорошо бы, конечно, двинуть к Азову флот, да где ж его взять? В Голландии покупать — никакой казны не хватит, а самим строить — это сколько же времени уйдет? Царь Алексей Михайлович за восемь лет всего один корабль построил. Да и у господина шкипера больше двух судов в год пока никак не получается.

Петр резко оборвал возражения. Кажется, его не понимают. Ему дела нет до того, что было раньше. Ему нужен флот, гребная флотилия — галеры, галеасы, каторги, брандеры. И еще полторы тысячи стругов и лодок для перевозки снарядов и продовольствия. К будущей весне. Все.

Разговоры кончились, — и застучали топоры, запели пилы. В лесных местах, ближайших к Дону: в Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске, — выстроили верфи. Из Голландии срочно



выписали галеру — для образца. По ее чертежу преобращенцы и семеновцы заложили тридцать судов. К ним в помощь привезли архангельских плотников и собранных волей или неволей корабельщиков с иностранных судов. Еще 26 000 рабочих заготавливали для них древесину. В дремучих воронежских лесах запахло горьким дымом костров, морозную тишину раскололи гулкие звуки рубки; заснеженные сосны валились в снег, исчезая в клубах искрящегося белого праха. Многие леса свели под корень — верст на двадцать и более.

Среди этих приготовлений, 29 января 1696 года, скоропостижно скончался царь Иван — незаметно, как жил. Петр устроил ему пышные похороны. На Москве же поговаривали: умер старший благочестивый царь от великой скорби, что брат его живет не по церкви, ездит в Кукуй и знается с немцами.

В конце февраля Петр выехал в Воронеж. Лефорт остался в Москве — простудился, гуляя на Масленой. Личное присутствие царя и вправду было необходимо: тысячи крестьян не являлись на работы, бежали от корабельной повинности; солдаты, отправленные в Воронеж, так дуровали, что Петру пришлось самому прикрикнуть на капитанов, чтоб строже смотрели за подчиненными. А тут еще задуровала погода: до половины марта лили дожди, а потом вдруг ударили такие морозы, что четыре дня нельзя было выйти из дому. Тем не менее царь сумел до апреля соорудить собственными руками самую легкую на ходу галеру «Principium».

Дела, однако, наваливаются, и вот уже больному Лефорту приказано ехать в Воронеж не мешкав. Пришлось тащиться сквозь метели и выюги в карете с печкой, с целым штатом докторов. Кашляющий женевец бодрился: «Лекарства всякого круг себя наставлю, и морозы меня не проймут». Однако в дороге пришлось лечить самих врачей. «На Ефремове, — сообщал Лефорт царю, — лекари сошлись вместе, стали пить, всякий стал свое вино хвалить; после того учинился у них спор о лекарствах, и дошло у них до шпаг, и три человека из них ранены».

Нелегко давалась шкиперу Питеру затея с воронежским флотом. «Мы, — писал он в Москву, — по приказу Божию к прадеду нашему Адаму в поте лица своего едим хлеб свой». Лекари режут друг друга, подрядчики воруют, крестьяне бросают подводы с лесом... Новая, страшная беда: рабочие подожгли леса вокруг верфей, где строят струги, и струговому делу чинится



великое порушение, и морскому воинскому походу остановка. А капитаны в Воронеже кричат и жалуются, что в кузницах нет угля: «За тем наше дело стало!» И Петр успевает всюду — то с топором в руке дает пример работы, то ведет расчет присланного материала, то мирит подравшихся, то исправляет дубинкой нерадивых... А хлеб свой, политый потом, ест в маленьком домике из двух горниц с сениями и крыльцом. Не забывает славный шкипер и об Ивашке Хмельницком — благо, Лефорт привез из Москвы изрядный запас мушкетеленвейна и доброго пива.

И дело, слава богу, не стоит, движется.

1 апреля начали грузить на галеры и струги войско, казну и припасы. В этом занятии прошла Святая неделя. Петр поздравил всю компанию, оставшуюся в Москве, разом, в одном письме к Виниусу — «не для лени, но великих ради недосужек». Иностранные инженеры из Вены, однако, запаздывали.

В конце апреля дворянское ополчение выступило в поход. Спустя неделю вслед за ними двинулся «морской караван» с полками нового строя. Адмирал Лефорт вверил командование над ним капитану галеры «Principium» Петру Алексееву. Капитанам прочих судов зачитали флотский регламент, составленный царем. Предписывалось идти совокупно, «понеже того требует общая польза, и военные суда, плотно друг с другом идущие, могут объехать всю Вселенную». Кто сигналов с адмиральского корабля не послушает — смертная казнь. Кто в бой пойдет по своему почину — смертная казнь. Кто товарища или поврежденную галеру в беде покинет — смертная казнь.

Петр подлетел к Азову раньше основных сил. В Черкасске он узнал от казаков, что в устье Дона, на взморье, разгружаются два турецких корабля. Донцы пытались взять их на abordаж — не получилось: борта слишком высокие; пробовали прорубить их топорами, но были отогнаны ружейным и пушечным огнем. Петр загорелся: нужно скорее атаковать, пока не ушли. Вместе с казачьими лодками галеры спешно поплыли к низовьям Дона.

Но пока плыли, Борей подгадил — отогнал в море воду из узких протоков, на которые делится устье Дона: казачьи струги прошли через отмели, галеры — нет. Пересев к казакам, Петр все-таки выбрался в море, однако вместо двух судов увидел перед собой всю турецкую эскадру — около двадцати галер. Унылый и расстроенный, он возвратился под Азов. Едва приплыл, как следом тотчас пришло известие: казаки не



утерпели, внезапно набросились на турок, сожгли десять судов и одно захватили в плен. Петр прикусил губу. Зря уехал! Рано — ах черт!.. Немедленно двинул флот к устью, но турки от нового сражения уклонились.

Между тем к Азову подходили полки дворянского ополчения. Турки не ожидали так скоро повторной осады — едва поправили осевший вал и даже не засыпали прошлогодних траншей под городом и не разгребли насыпей. Русские беспрепятственно заняли свои покинутые апроши. Татарскую конницу, пытавшуюся тревожить со стороны степи русский лагерь, быстро отогнали.

16 июня за городскую стену полетело письмо на стреле с предложением сдаться. Турки ответили на него орудийным огнем. В ответ заговорили русские пушки. Поднявшись на одну из батарей, Петр сам забросил в город первые бомбы. Неприятельские батареи одна за другой смолкли. Турки, как и в прошлый раз, пережидали канонаду, попрятавшись в землянки. Однако иностранные инженеры все еще не приехали, и подкопы шли худо. В полках роптали, что никакого добра от мин не будет — только опять своих перебьем. Чтобы возбудить боевой дух войска, на консилии господ генералов было решено прямо спросить воинство: каким путем оно желает взять Азов? Как скажут, так и будет. Стрельцы и дворянские служилые люди ответили, что лучше всего вести осаду прадедовским обычаем — возвести вал вровень с неприятельским и засыпать ров: так святой князь Владимир взял Херсон.

Гордон нашел затею интересной и, воодушевшись, принялся усовершенствовать ее: составил проект такого вала, который превышал бы городские стены, — с проходами для атакующих и с раскатами для батарей. Вся армия превратилась в землекопов. Грозная земляная стена с каждым днем вырастала все выше. Турки, пришедшие в ужас, мешали работам одним ружейным огнем.

Как и в прошлом году, Петр не вылезал с передовых позиций. На тревожное письмо сестры, царевны Натальи, до которой дошли слухи, что царь подходит к крепости на расстояние ружейного выстрела, он шутливо отвечал: «По письму твоему я к ядрам и пулям близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтоб не ходили; однако, хотя и ходят, только по ся поры вежливо».



Приходили к Петру и милые голландские писульки, спрыснутые духами: жалела в них Анна, что у нее, убогой, крыльев нет, и слала четыре цитрона и четыре апельсина, чтоб государь ее сердца кушал на здоровье. Мимоходом просила за своих друзей и родственников и — еще осторожнее — чтобы пожаловал государь именишко и ей, недостойной. Петр, не задумываясь, давал просимые места, дарил деревни и волости.

Царица Евдокия знала про это — и терпела. Уже не называла мужа лапушкой, слала в пустоту свои укоризны: «Только я, бедная, на свете несчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Не презри, свет мой, моего прощения...» Знала, что Петр не ответит, — он перестал писать ей из походов еще при жизни Натальи Кирилловны. Он и не отвечал. Хмурясь, читал ее грамотки и, скомкав, бросал под стол или куда придется.



Петр I в период Азовских походов



11 июля приехали долгожданные австрийские инженеры. Подивились на вал и принялись за подкопы. К этому времени азовские батареи окончательно затихли — у них уже кончились снаряды. А турецкая эскадра белела парусами в море на виду у русских галер, не решаясь войти в устье Дона. На 22 июля Петр назначил штурм города.

Однако саперное искусство заморских инженеров оказалось ни к чему. Казакам прискучили земляные работы. Они договорились меж собой ударить на Азов и тем увлечь за собой остальное войско. 18 июля гетман Лизогуб и атаман Миняев сами повели удальцов на приступ. Казаки быстро сбили турок с вала и едва не ворвались в город, но у каменного замка турки остановили их натиск ружейным огнем, стреляя за недостатком свинца разрубленными монетами.

Казаки закрепились на валу. Янычары бросились в контратаку и начали теснить донцов, но тут подоспели, наконец, солдатские и стрелецкие полки Головина и Гордона. После часового боя турок отбили и гнали до самых городских стен.

Наступила короткая передышка. Петр объявил общий штурм, и русские полки спешно стягивались к валу, плотно облекая город. Через некоторое время из ворот вышел янычарский ага в красном кафтане. Крикнул, что письмо на стреле было без боярской печати — вот паша ему и не поверил, а если снова будет такое же с печатью, то паша сдаст город. Печать приложили, и начались переговоры о сдаче.

На радостях Петр согласился на самые почетные для турок условия: оставил им оружие и даже предложил перевезти их на судах Доном до устья Кагальника. Но был непреклонен в одном — чтобы выдали ему изменника Якушку Янсена. Турки вначале было заупрямились (дело было в том, что голландец принял ислам и стал янычаром), однако, подумав, решили не гневить победителя — выдали.

Утром следующего дня русские полки выстроились в два ряда перед воротами Азова. Турки повалили из ворот в страшном беспорядке: одни бросились к судам, другие побежали в степь. Один ага важно прошеествовал со знаменем и сотней янычар сквозь живой коридор.

Русские вошли в опустевший Азов. Город представлял собой груды развалин, как будто несколько веков лежал в запустении. Казаки, искавшие добычи, врывались в землянки оставшихся



жителей, но находили только домашнюю утварь и рухлядь. Военные трофеи составили около ста пушек и мортир — все без снарядов.

Награды войску раздали из казны, по дедовскому обычаю: офицерам — золотые медали, кубки, шубы, деньги, крестьянские дворы; солдатам — по золоченой копейке.

В тот же день, назначив азовским воеводой боярина Матвея Степановича Пушкина, Петр уехал искать удобную гавань для будущего флота. Устье Дона с отмелями его не устраивало. Ему повезло: неподалеку от донских низовьев, у мыса Таган-Рог с крепким каменистым грунтом, он обнаружил широкий залив достаточной глубины. Приказал заложить здесь Троицкую крепость. Возвратившись в Азов, пил с господами генералами за то, что Московская держава, слава богу, один угол Черного моря уже имеет, а со временем и все море иметь будет. Захмелевший, но не утративший серьезности, Гордон заметил, что сделать это будет трудно. Петр улыбнулся. Ничего. Не вдруг, а помаленьку.

В Москву он не спешил. Первую победу русских над турками следовало отпраздновать как можно пышнее. Дьяку Виниусу было поручено соорудить на Каменном мосту через Москву-реку триумфальную арку, и дьяк сообщал, что арка будет готова не раньше половины сентября. Чтобы не терять попусту времени, Петр уехал на тульские заводы. По пути он узнал, какое впечатление произвела азовская победа в союзной Польше. На заседании сейма сенаторы слушали посланную им из Москвы реляцию и качали головами: «Какой отважный и беспечный человек! И что от него впредь будет?» Воевода Матчинский презрительно усмехался: «Надобно москалям поминать покойного короля Яна, что поднял их и сделал людьми военными. А если б союза с ними не заключил, то и до сей поры дань Крыму платили бы, и сами валялись бы дома». Воевода Потоцкий, задумчиво покручивая ус, отвечал ему: «Было б лучше, чтоб дома сидели, это бы нам не вредило, а когда выполируются и крови нанюхаются, увидишь, что из них будет, — до чего Господи Боже не допусти...» Однако шляхтичи православной веры кричали на улицах Варшавы и Кракова: «Виват его милости царю!» — и народ трижды подхватывал: «Виват! Нех будет пан Бог благословен!»

30 сентября победоносное войско, пройдя через Замоскворечье, вступило на Каменный мост, украшенный огромной триумфальной аркой. Над ее фронтоном среди знамен и оружия



сидел двуглавый орел под тремя коронами. По своду арки в трех местах виднелась надпись: «Приидох, видех, победих»¹⁹. Парящая Слава в одной руке держала лавровый венок, в другой — масличную ветвь. Надпись под ней гласила: «Достоин деятель мзды своея». Фронтон поддерживали статуи Геркулеса и Марса. Под Геркулесом на пьедестале были изображены азовский паша в чалме и двое скованных турок; под Марсом — татарский мурза с двумя скованными татарами. Над обоими вирши. Над пашой:

Ах! Азов мы потеряли,
И тем бедство себе достали.

Над мурзой:

Прежде на степях мы ратовались,
Ныне же от Москвы бегством едва спасались.

Подле Геркулеса и Марса возвышались пирамиды, перевитые зелеными ветвями, — одна «в похвалу прехрабрых воев морских», другая «в похвалу прехрабрых воев полевых». По обеим сторонам ворот были натянуты полотна с картинами, изображавшими морское сражение и Нептуна, рекущего: «Се и аз поздравляю взятием Азова и покоряюсь».

Впереди воинства, развалясь в карете, ехал князь-папа Никита Зотов. За ним на раззолоченных санях, запряженных шестеркой лошадей, следовал Лефорт; позади шел капитан третьей роты Преображенского полка Петр Алексеев в шляпе с белым пером и протазаном²⁰ в руке. Распорядитель торжества Виниус, сидевший на арке, приветствовал в трубу Лефорта громогласными виршами:

Генерал-адмирал! Морских всех сил глава.
Пришел, зрел, победил прегордого врага.

Приветствие сопровождалось орудийными залпами. Славословия в свою честь слышали и другие военачальники, проходившие под аркой.

¹⁹ «Пришел, увидел, победил» — так сообщил Юлий Цезарь в Рим о своей победе при Зеле в 47 г. до н. э. Слова стали крылатыми.

²⁰ *Протазан* — копьё с плоским и длинным металлическим наконечником, почетное оружие офицера.



Солдаты волокли по земле турецкие знамена. Предателя Янсена, одетого в турецкое платье, везли на телеге с помостом и виселицей, под которой стояли два палача. На груди голландца висела доска с надписью: «Христианам злодей»²¹. За ним шли пленные турки в белых одеждах.

Народ дивился на царский въезд, но без радости. Отплываваясь и крестясь, москвичи смотрели на статуи эллинских дьяволов, на пьяницу, возглавлявшего процессию... Больше всего возмущались, что царь шествует в немецком платье и пеший. Люди толпились вдоль улиц и молча провожали взглядами колонны войск.

Царевич Алексей наблюдал торжество из кареты царицы Евдокии. Зрелище ему нравилось, и грудь распирало от гордости за батюшку. Обидно было только, что после праздника батюшка не зашел к ним с матушкой. Краем уха он слышал, как царица Евдокия прошипела боярыням: «Опять отправился к своей Анке, еретичке проклятой!» Но кто такая эта Анка, матушка не объяснила.

Теперь у него было море. Свое! И ему не терпелось им попользоваться. По государеву указу Боярская Дума обязала московских людей всех чинов и званий — духовные власти, бояр, гостей, черносотенцев и слободских — составить кумпанства и теми кумпанствами нанимать искусных плотников и живописцев и строить корабли со всеми припасами. Новая подать была и обременительной, и непонятной, неслыханной. Купцы, не стесняясь, рассуждали меж собой, что вот задумал-де государь отнять у султана Царьград, а кой черт несет его туда? И добавляли в сердцах: жаль силы, что пропадет, а он, государь, хоть бы и пропал — мало горя!

Служилых людей при одной мысли о море мучило и знобило. Знать — та считала корабельное дело зазорным. А кое-кто и богомерзким. Господь сподобил человека по суше ходить, и земелькой державу Московскую не обидел. По морю плавать — Господа искушать, еще, не ровен час, утонешь без святого причастия.

Боярская спесь бесила Петра. Он, царь всяя Руси, даром свой хлеб не ест, а что делают все эти несметные тучи стольников

²¹ Янсен был казнен четвертованием. По словам очевидца, ему «руки и ноги ломали колесом и голову на кол воткнули».



и спальников? В конце ноября 1696 года с Постельного крыльца был зачитан царский указ об отправке за границу для обучения корабельному мастерству и навигации шести десятков молодых людей из знатнейших фамилий. В день их отъезда Кремль огласился рыданиями и причитаниями. Благородные отпрыски Рюриковичей и Гедиминовичей — князья Куракины, Голицыны, Долгорукие, Черкасские, Репнины — сидели в санях и каретах, растерянные, пришибленные, ошалело глядя на вопящую и заламывающую руки родню. А их отцы, матери и жены безутешно убивались, плакали и обнимали своих чад и мужей, невесть чем заслуживших царский гнев и опалу, и заклинали в чужих еретических землях тамошних поганых вер и обычаев не перенимать, но свято хранить верность отеческим заветам и преданиям.

Как только боярские дети уехали, Петра неудержимо потянуло вслед за ними. Предстоящее путешествие занимало все его мысли. В своем воображении он уже жил в тех далеких, притягательно-страшных заморских городах, о которых Лефорт, Гордон и другие знакомые иноземцы рассказывали столько удивительного. Ему страстно хотелось увидеть и ученого амстердамского слона, который играл знаменем, трубил по-турски и палил из мушкета; и святой камень в Венеции, из которого Моисей воду источил; и хранившееся в тамошних церквях млеко Пресвятой Богородицы в склянице; и дивную зрительную трубу, в которую все звезды перечесть можно; и кельнский костел, где опочивают волхвы персидские; и бесстыжих жен заморских, выставляющих напоказ непокрытые власы и сосцы голы; и башню на реке Рейне, в которой, сказывают, короля мыши съели, и многое, многое другое, а главное — осмотреть и пощупать, как поставлено там корабельное дело. Европа представлялась ему в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами...

В декабре думный дьяк Емельян Украинцев объявил в Посольском приказе, что государь указал, для своих великих государских дел, послать в окрестные государства, к цесарю, к королям английскому и датскому, к папе римскому, к Голландским Штатам, к курфюрсту Бранденбургскому и в Венецианскую Республику, великих и полномочных послов: генерала и адмирала, наместника Новгородского Франца Яковлевича Лефорта, генерала и воинского комиссария, наместника Сибирского Федора Алексеевича Головина и думного дьяка,



наместника Волховского Прокофия Богдановича Возницына, с верительными полномочными грамотами, для подтверждения древней дружбы и любви, для общих всему христианству дел, к ослаблению врагов Креста Господня, султана турецкого, хана крымского и всех бусурманских орд, и к вящему приращению государей христианских. С великими послами ехали для обучения морскому делу волонтеры — коренные бомбардиры, неразлучные спутники царя во всех потешных походах, обстрелянные с ним под Азовом, — денщики Александр Меншиков и Александр Кикин и еще 33 человека — в основном солдаты Преображенского и Семеновского полков.

Для себя Петр определил в великом посольстве особое место. Ехать под своим именем ему не хотелось — боялся, что вгонят в гроб церемониями и приветствиями. Да еще, пожалуй, и поработать не дадут. А ему ох как нужно вызнать у голландских корабельщиков их секреты! Не выучась самому, как с других спрашивать? И султану лучше не знать, что царь надолго оставляет московские пределы. Поразмыслив, он записался десятником во втором десятке волонтеров под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Всем членам посольства под страхом смертной казни было запрещено разглашать царское инкогнито.

Непредвиденные обстоятельства всю зиму удерживали Петра в Москве. Первое касалось маршрута путешествия. Русские послы всегда ездили в Вену через Польшу. Но в январе в Москве было получено известие о смерти короля Яна Собеского. Сейм объявил о выборах нового короля Речи Посполитой, и Польша забурили. Германский император писал Петру, что необходимо обеспечить избрание выгодного им обоим претендента, а потому пускай царь шлет деньги на подарки сенаторам, пуще же денег любят поляки московских соболей. Петр, вместо денег и соболей, двинул к литовской границе войска, но чтобы избежать путешествия через охваченные безначалием польские земли, маршрут великого посольства пришлось изменить. Решено было ехать прямо в Голландию через Лифляндию, Бранденбург и Саксонию, а в Вене побывать на обратном пути.

23 февраля 1697 года все было готово к отъезду. Великий посол генерал и адмирал Лефорт дал прощальный ужин с музыкой и танцами. Радужный женевец сиял. Для него, не обремененного никакими обязанностями, посольство было веселыми каникулами, шумным набегом в изрядно подзабытые европейские пенаты.



За полночь, в разгар веселья, Петра вызвали в другую комнату. Здесь его ждали двое начальных стрелецкого Стремянного полка, пятисотенный Ларион Елизарьев и пятидесятник Григорий Силин, с изветом на думного дьяка полковника Ивана Елисеевича Цыклера. Пятисотенный поведал, что Цыклер накануне пытал у него, смиренно ли в стрелецких полках, на что он, Елизарьев, ответил, что, слава богу, смиренно. Тогда Цыклер сказал: «Ныне государь едет за море, а ну как там с ним что делается, кто у нас государем будет?» Елизарьев ответил, что есть у них Божиим благоволением государь царевич, а Цыклер ему: есть, мол, и государыня, что в Девичьем монастыре. Силин же показал, что Цыклер подговаривал его со стрельцами устроить пожар, и когда государь, по обыкновению, явится на тушение, изрезать его ножей в пять.

Оставив гостей веселиться, Петр с немногими приближенными помчался в саних по безлюдным, заваленным снегом улицам к дому Цыклера. По дороге с перекошенным лицом думал об изменнике. Цыклер, обрусевший немец, капитаном участвовал в майских убийствах 1682 года, потом, во время противостояния с Софьей, переметнулся на сторону Петра, который наградил его чином полковника, но старался держать подальше — сначала в Верхотурье воеводой, а недавно вызвал в Москву, чтобы объявить о новом назначении — на строительство таганрогской крепости. Значит, правильно, что не доверял. Проклятое милославское семя!

Цыклера в одном исподнем выволокли из дома, бросили в сани и повезли в Преображенское, в тайный приказ князя-кейсаря. Палачу пришлось повозиться: подвешенный на дыбу, полковник заговорил только на десятом ударе страшного кнута, которым заплечных дел мастер содрал ему со спины мясо до костей. Повинился в намерении умертвить царя, а потом не помня себя стал выкрикивать то, что лежало на сердце все эти годы. Вот как награждает государь за верную службу! Приблизил к себе разных выскочек, а о Цыклере, верном Цыклере не слышать! Все эти верхотурские и таганрогские воеводства — только что не ссылка! Брезгает царь верным слугою, никогда и в дом к нему не заглянет. А если вспомнить: кто первым покинул Софью? Цыклер. А последним? Лефор с Гордоном. Вот уж воистину последние стали первыми... Как он их всех ненавидит!.. Вконец обессилев, уронил голову на окровавленную грудь и затих.



Главным своим сообщником Цыклер назвал окольного Алексея Прокофьевича Соковнина, который доводился родным братом боярыне Морозовой и княгине Урусовой и, подобно им, коснел в расколе, осуждая богомерзкие новшества. Озлобленный тем, что Петр никак не пожалует его боярством, Соковнин выговаривал Цыклеру, что-де можно бы стрельцам государя убить, потому что ездит он всюду один, — так почто же они по сю пору ничего не учинят? Где они пропали? Знать, спят! Даром пропадают, и впредь им погибнуть! И еще говорил Цыклеру: «Если стрельцы то над государем учинят, мы тебя в цари выберем».

Соковнин, в свою очередь, указал на своего зятя и свойственника Цыклера — Федора Матвеевича Пушкина, обиженного тем, что его отца назначили воеводой в Азов. Такое назначение хуже опалы — поруха боярской чести! За обиды, чинимые царем боярству, за то, что он их за море посылает, грозился Пушкин убить царя: вот только бы ему, Федьке, где-нибудь с ним, государем, съехаться, и он бы с ним не разъехался, хотя б самому ему, Федьке, пропасть.

Впрочем, среди стрельцов у них нашлось немного сообщников — двое всего, Филиппов и Рожин, да еще донской казак Лукьянов. Оба стрельца печаловались, что государь живет не по-христиански и казну тощит.

Верховный суд из бояр выслушал доносы и пыточные речи и приговорил: Цыклера и Соковнина четвертовать, остальным отсечь головы.

На допросах и во время суда не раз всплывало имя покойного боярина Ивана Михайловича Милославского: выяснилось, что в разговорах друг с другом воры неоднократно ссылались на его пример. Петр вновь живо вспомнил страшные майские дни в Кремле, и у него затуманилась голова. Вот кто настоящий заводчик всякой смуты и неустройства! И вот кого надо достать — не живого, так мертвого!

Казнь заговорщиков была назначена на 4 марта. В этот день гроб с останками Милославского, покоившийся в церкви Святителя Николая Столпника, что на Покровке, вырыли из земли и на свиньях прикатили в Преображенское, где был сооружен помост с колесом для четвертования и тремя плахами. Гроб поставили под помост, и кровь казненных ручьями стекала на истлевший труп мятежного боярина... Обезглавленные и расчлененные тела перевезли из Преображенского на Красную



площадь и побросали вокруг специально сооруженного каменного столба; головы казненных воткнули на шесть спиц, вделанных в столб. Здесь же поставили и окровавленный гроб Милославского²². Церемониймейстером сего представления был сам государь Петр Алексеевич.

Через неделю после казни Петр считал возможным тронуться в путь. Великое посольство действительно было велико: каждый посол окружил себя многолюдной свитой из своих дворян, холопов, прислуги, поваров, карлов; помимо них посольство сопровождали солдаты и священники. Огромный обоз с припасами, казной, заготовленными подарками растянулся на несколько верст.

Управлять всеми делами от царского имени остались Лев Кириллович Нарышкин, князь Борис Алексеевич Голицын и князь Петр Иванович Прозоровский. Москва была отказана отдельно — князю-кесарю Ромодановскому.

Посольство выехало через Неглинные ворота, крытые листовой позолоченной медью, жарко сиявшей на солнце. Царица Евдокия с сыном и царевны наблюдали за выездом из особой пристройки над воротами, через окна с густой решеткой.

Царские приставы, думные бояре и духовные власти проводили послов версты две за городом и, простившись, повернули назад.

Потянулись подмосковные поля, леса... Первое время Петр беспрестанно оглядывался на три кольца московских стен, на неистовое сверканье куполов соборов и церквей, на башни, ворота, на деревянную громаду Земляной слободы, все теснее опоясывавшую город по мере того, как тот удалялся, терял очертания и цвета, собираясь в одну беспорядочную, сизо-бурую грудю построек. При мысли о том, что он покидает Москву на год, а может, и более, его сердце сжималось от радости и тоски.

Чтобы отогнать эти мысли, он дал себе зарок не оборачиваться и какое-то время ехал, преувеличенно внимательно глядя по сторонам на оголившиеся от снега луга и пашни, на косо-

²² Останки заговорщиков были убраны с Красной площади только в июле.



горы, покрытые бурой прошлогодней травой, на сквозившие вдалеке рощи... У села Пушкинского не выдержал — снова оглянулся. Над Москвой поднимался густой черный дым: где-то разгорался пожар...

Неприятности начались, как только посольство пересекло русско-шведскую границу в Лифляндии. Псковский воевода заблаговременно известил рижского губернатора Дальберга о приезде послов, прося приготовить все необходимое. Дальберг в ответ заверил, что сделает все от него зависящее для достойного приема почетных гостей, прибавив, впрочем, что «во всей Лифляндии большой неурожай и великие послы, надеюсь, удовольствуются тем, что найдется».

В Нарве, однако, ни кормов, ни подвод не оказалось. Пришлось ехать кое-как своим ходом, на лошадях, изнуренных долгой дорогой по распутице. На запросы послов Дальберг твердил одно: в городе и окрестностях лошади с голодудохнут.

Тем не менее под Ригой послов ждали шесть довольно порядочных карет (в том числе одна золоченая) и рота знатных горожан на сытых, справных лошадях. Петр покосился на них, но от высказывания неудовольствия в адрес городских властей воздержался, тем более что далее послы въехали в город с подобающим их достоинству громом: под трубные звуки оркестра и орудийные залпы.

В Риге пришлось против воли задержаться на целую неделю — в день приезда посольства вскрылась Двина, и о переправе нечего было и думать. От нечего делать Петр с послами отправились осматривать городские укрепления. Но только они навели на крепость подзорную трубу, как прибежал переполошившийся караульный офицер и пригрозил применить оружие, если послы не оставят это занятие. Дальберг, к которому Лефорт обратился с жалобой, полностью одобрил действия караула, заявив, что иностранцам строго воспрещается осматривать стены и башни крепости. Петр молча проглотил обиду. Все же кое-какие наблюдения он успел сделать: гарнизон насчитывает около тысячи человек, укрепления во многих местах не доделаны... Может, сгодится при случае.

С каждым днем, проведенным в Риге, Петр убеждался, что на его послов здесь смотрят как на нежелательных и обременительных гостей. Дальберг не удостоил их приемом — раз едут не к его государю, так и незачем. Конечно, он знал о присутствии



в посольской свите самого царя — слух об этом бежал далеко впереди посольства, — но считал, что это обстоятельство ни к чему его не обязывает, ввиду принятого Петром инкогнито.

К неприятным впечатлениям от подозрительного и брюзгливого старика губернатора прибавилась досада на рижан — купцов и бюргеров, которые за все ломили бесстыдно тройную цену. В день отъезда из Риги возникли ссоры с хозяевами домов, где квартировались послы. Даже Дальберг, которому пришлось вмешаться, нашел выставленные счета непомерными.

Когда, наконец, Двина унесла последние льдины в море, посольство, проклиная горожан и губернатора, покинуло негостеприимную Ригу. В письме Виниусу Петр подвел итог рижским впечатлениям: «Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением».

Письмо запечатал перстнем, специально заказанным в Москве перед отъездом. На горячем сургуче четко отпечатались слова: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».

В Митаве, где посольство сделало следующую остановку, все было иначе. Курляндские герцоги издавна состояли в добрых отношениях с московскими государями, поэтому нынешний владелец Курляндии Фридрих Казимир принял послов как нельзя лучше. В город они въехали в парадном герцогском экипаже, в приготовленных для них домах их ожидал обильный ужин, за столом прислуживали придворные чины. После ужина герцог дал послам аудиенцию и проводил их до кареты. Все посольские расходы были приняты на счет герцогской казны. Послы хвалили прием и на чем свет стоит поносили шведов, грозя отомстить за дурную встречу в Риге при первом же случае.

При всем том Фридрих Казимир не мог занять высокого гостя так, как бы желал: у него не было ни фабрик, ни верфи, ни флота. Петру пришлось довольствоваться визитом в местную аптеку, где ему показали заспиртованную саламандру. Просил еще показать ему казнь колесованием, которую собирался ввести в московское судопроизводство, но перед ним вежливо извинились — в настоящую минуту в местной тюрьме нет преступника, заслужившего подобную казнь. Петра это не остановило. Почему бы в таком случае не воспользоваться кем-нибудь из его свиты? Его насилу отговорили от этой затеи. Тогда, забавы ради,



царь купил в местной лавке топор и отослал в Москву князю-кесарю — «на отмщение врагов маестату вашего»²³.

Зато у герцога было море. На другой же день Петр уехал в Либау посмотреть на любимую стихию. Варяжское²⁴ море предстало перед ним в грозном величии: в грозовых тучах сверкали белые изломы молний, тяжелые валы с грохотом разбивались о берег... Петр стоял на прибрежном песке, сочившемся соленой влагой, и в душе его закипала досада. Нет, все-таки его Азовское море — просто лужа. И заперто со всех сторон... А здесь простор и выход ко всем государствам Европы, Америки, всего света! Вот бы пробиться сюда — не то что нескольких лет, всей жизни было бы не жалко...

Увидев море, расстаться с ним уже не смог — послам велел ехать в Кёнигсберг сухим путем, а для себя с волонтерами нанял любекский торговый корабль.

7 мая Петр прибыл в Кёнигсберг, опередив послов дней на десять. Прием, оказанный ему, был превосходный. Волонтеру Петру Михайлову со товарищи отвели резиденцию курфюрста Бранденбургского Фридриха в Кнайпхофе. Однако Петр остался недоволен, встретив во дворце ожидавшегося его придворного церемониймейстера Якова фон Бессера, утонченного царедворца и вместе с тем поэта и ученого. Более нежелательного визитера нельзя было представить. Петр набросился на него, сорвал парик с головы. Зачем здесь этот человек? Ему объяснили, по мере возможности, обязанности Бессера. Царь хмуро буркнул:

— Хорошо, пускай приведет ко мне девку.

В предложенных гостям развлечениях не было недостатка, ибо курфюрст, как мог, подражал версальскому двору. Однако странный волонтер предпочел придворным увеселениям прохождение курса артиллерийского дела у инженера прусских крепостей подполковника Штейтнера фон Штернфельда. Во время прогулок, совершаемых царем по городу, прохожие шарахались от него в сторону, чтобы не подвергнуться какой-нибудь неожиданной выходке со стороны грубого варвара. Одна придворная дама с ужасом рассказывала, как *der russische Kaiser*²⁵, повстречавшись с ней на улице, бесцеремонно остановил ее, взял часы,

²³ «Вашего величества» (от *лат.* *maiestas* — величество).

²⁴ Балтийское море в то время в России называли Варяжским.

²⁵ Русский царь (*нем.*).



висевшие у нее на груди, посмотрел, который час, и как ни в чем не бывало отправился дальше.

Не менее пышно и торжественно принял курфюрст великих послов, приехавших в Кёнигсберг 18 мая; он даже отменил придворный траур по случаю кончины шведского короля Карла XI. Взамен попытался блеснуть перед послами королевским достоинством, которого давно добивался: принял их, сидя на троне под балдахин, сияя бесчисленным множеством бриллиантов, алмазов и дорогих камней, рассыпанных по его красному камзолу и шляпе. Но послы поклонились ему рядовым поклоном и наотрез отказались целовать руку. Фридрих не настаивал (всему свое время, он умеет ждать) и в приветственной речи объявил, что ничего, к удовольствию господ послов, жалеть не станет. Затем взял под руку волонтера Петра Михайлова и отвел в нишу окна. Там, отдуваясь от жары и обмахиваясь шляпой, долго говорил по-голландски. Жалел молодого шведского наследника Карла. В пятнадцать лет остаться без отца и матери! Наследником обширнейшего королевства, управление которым под силу только опытным мужам! Ведь шведской короне принадлежат Финляндия и Ливония, Карелия и Ингрия, имперский город Висмар, Выборг, острова Рюген и Эзель, почти вся Померания, герцогства Бремен и Верден — подумать только, сколько чужого добра! Теперь датский король и Речь Посполитая, словно прожорливые индюки, начнут клевать эти ядренные зернышки, рассыпавшиеся по Балтике. Вообще-то, если сказать правду, на некоторые из этих земель с гораздо большим правом могло бы претендовать Бранденбургское курфюршество. И московские государи, если ему не изменяет память, являются древнейшими обладателями Ижорских земель... Кстати, не пришла ли пора подтвердить давнюю дружбу обоих государств новым союзным договором? А вот Швеции, пожалуй, трудно будет сыскать союзников — так или иначе, она успела обидеть всех своих соседей. Да, судя по всему, нелегко придется этому юноше, тем более что сам он пока находится под опекой бабки и не обладает никакой властью. Ну да Господь с ним. Со стороны господина волонтера было крайне любезно выслушать с таким вниманием его старческое брюзжание.

Вечером, во время торжественного ужина, под окнами дворца был сожжен такой великолепный фейерверк, которого послы и не видывали. Особенно понравились русским огненные корабли азовского флота, проплывшие по реке на плоту.



Петр зажился в Кёнигсберге долее, чем предполагал: не из-за своей воли — по польским делам.

Желающих примерить древнюю корону Ягеллонов нашлось более чем достаточно. Свои кандидатуры выставили пфальцграф Карл, лотарингский герцог Леопольд, баденский маркграф Людвиг, внук папы римского дон Ливио Одескальки, французский принц крови де Конти, саксонский курфюрст Август, а также несколько польских вельмож, в том числе сын покойного короля Яков Собеский. Все они сулили сенаторам, панам и шляхте подарки и деньги (некоторые их даже давали) и вербовали себе сторонников в сейме. Ставки все время повышались, и страсти бушевали не на шутку. Шляхта, как вода, переливалась на все стороны.

Петру было все равно, кто сядет на польский престол. Единственным нежелательным для Москвы лицом был де Конти, ибо Франция состояла в союзе с Турцией, и в случае его избрания было совершенно очевидно, что Польша выйдет из войны. Того же мнения придерживался и германский император, воевавший и с Францией, и с Турцией. Однако получилось так, что в конце концов наиболее вероятными претендентами на польский престол остались два человека, и один из них был именно французский принц, которого поддерживал могущественный и влиятельный кардинал-примас архиепископ Гнезненский Радзиовский. Выступая в сейме перед сенаторами, он перечислял достоинства Конти: происходит из тысячелетнего королевского дома Бурбонов, старейшего в Европе, молод, учтив, имеет троих детей (всего троих, Панове, — какое облегчение для казны!), обещает уговорить султана возвратить Речи Посполитой Каменец, а войску платит десять миллионов злотых. После него на трибуну поднимался саксонский посланник полковник Флемминг. Обращал внимание господ сенаторов на знатность саксонского дома и древность его рыцарства (ни один саксонский дворянин не женится на девушке, в чьих жилах не течет кровь по крайней мере одиннадцати поколений благородных предков!), на цветущий возраст и богатырское здоровье своего господина, на его ревность к католической вере (единственный католик в протестантской Саксонии!); особо подчеркивал, что курфюрст Август имеет всего одного сына (одного,



Панове!), что он дает посполитому воинству десять миллионов злотых, а польских денег ему не надо. И этот превосходный государь, доказавший свое мужество в боях с французами и турками, обязуется вернуть Речи Посполитой не только Каменец, но и Молдавию с Валахией, а также Ригу. Сенаторы в задумчивости крутили усы. Католик-то он католик, только какой-то странный — крестился всего два года назад, и то, кажется, тайно. К тому же Саксония близко к Польше и войско у курфюрста, что говорить, изрядное, а от этого польской вольности может быть великое худо. И главное, если уж у пана Августа в самом деле денег куры не клюют, отчего он дает вровень с французским принцем? Похоже, правду говорят, что он заложил последние драгоценности у венских иезуитов.

Когда стало ясно, что сейм склоняется в сторону Конти, Петр отослал Речи Посполитой грамоту, в которой писал, что в случае избрания французского принца не только союз против султана, но и вечный мир России с Польшей весьма крепко поврежден будет, и потому пускай поляки выбирают себе королем любого, только не Конти. Примас от имени сейма с благородным негодованием ответил на это, что Речь Посполитая выбирает себе короля не чрез коррупцию и не для частных выгод, а для общей пользы всего христианства. Опасаться московскому государю нечего, ибо не король Речью Посполитой радит, а Речь Посполитая королем — если захочет, то и из злого государя сделает доброго, а коли король не послушается сейма, его либо убьют, либо из государства выгонят.

17 июня состоялись выборы. Сенаторы с отрядами шляхты съехались на поле под Варшавой. Договориться не смогли, каждая сторона выбрала своего короля: одни — Конти, другие — Августа. Сторонники Конти кричали: «Как скоро приедет принц, пойдем отбирать Смоленск!» Саксонского курфюрста поносили пьяницей, тираном и блудником. Дошло до сабель; примасу прострелили из пистолета шапку.

Узнав об этом, Петр направил сейму вторую грамоту, в которой поздравил Августа с избранием и оповестил господ сенаторов, что для защиты Речи Посполитой от Конти подвинуто к литовской границе московское войско под началом князя Ромодановского, а сам законный король уже спешит к Варшаве с 12-тысячным саксонским войском. Шляхта, услышав про такие дела, в голос завопила, что примас им первую царскую грамоту



не огласил, а по ним, так лучше сгинуть, чем остаться при Конти. Август, не входя в Варшаву, повернул в Краков — короноваться. Он вступил в древнюю столицу Польши во главе пышной процессии, облаченный в придуманный им самим костюм: на нем была кираса, надетая поверх туники, с плеч свисала голубая бархатная мантия, затканная золотыми цветами и подбитая горностаями, голову покрывала шляпа с султаном из белых перьев, довольно комично сочетавшаяся с римскими сандалиями. Однако вслед за этим роскошным чучелом шли сорок верблюдов, нагруженных золотом и серебром. Краковцы решили, что с таким королем можно жить.

Долго еще волновалась Польша, в Кракове и Варшаве ежедневно происходили стычки сторонников обоих королей. Обыкновенно драку начинали дети. Собравшись в кучки и выбрав себе маршалков и хорунжих, они выходили с ружьями, барабанами и хоругвями в предместье и там бились — одни за Саксончика, другие за де Конти. А как раззадорятся, пристанут к ним взрослые — шляхта, мещане — и начнут рубиться не на шутку. Если одолевали сторонники курфюрста, саксонский секретарь и цесарский посол давали им деньги и выставляли бочки с медом и пивом; если же брала верх противная сторона — награждал ее примас. Однажды приехал на Краковскую площадь в карете стражник литовский Сапега и закричал: «Виват де Конти!» Ребята Саксончика начали бросать камни в карету, а сапежинцы кинулись на них с саблями и пистолетами — пятерых поранили, а одного малого до смерти застрелили. Увидел это дело цесарский посол и послал на помощь своих кавалеров, лакеев, кучеров, которые венгерскими палашами разогнали сапежинцев и многих изувечили, а сам стражник литовский едва спасся в бернардинском монастыре.

Петр жил в Пилау единственно «за элекциею Польскою»²⁶. Узнав, наконец, что Август короновался в Кракове и кланяется царю гораздо низко, заспешил в Голландию. Хотелось плыть в Амстердам морем, но датский король вовремя известил, что в Данциг идет французская эскадра с принцем Конти. Пришлось ехать по суше. С собой Петр увозил аттестат, выданный

²⁶ То есть ради выборов короля.



ему подполковником фон Штернфельдом, что московского кавалера Петра Михайлова можно везде признавать и почитать за совершенного, в метании бомб осторожного и искусного огнестрельного художника.

За окном кареты мелькали карликовые германские государства: герцогство Магдебургское, княжество Галберштадтское, епископство Гильдесхаймское, герцогство Цельское, княжество Минденское, епископство Мюнстерское, герцогство Клевское... Всюду волонтера Петра Михайлова ожидала самая лучшая встреча. Он же спешил в Голландию и останавливался только для ночлега: даже не стал осматривать знатные германские города Кюстрин, Берлин, Шпандау и Магдебург. Впрочем, близ Ильзенбурга завернул посмотреть на тамошние железные заводы.

Между тем в городок Коппенбург, через который пролегал его путь, спешили две дамы, чтобы полюбопытствовать на московитскую диковинку. Дамы эти слыли в Европе образованнейшими представительницами своего пола. Первая, курфюрстина Ганноверская София, несмотря на преклонный возраст (ей было 67 лет), в полной мере сохранила живость ума и интерес к жизни; вторая, курфюрстина Бранденбургская София Шарлотта, ее дочь, была известна как покровительница ученых и основательница Берлинской академии наук — именно ей Берлин был обязан своей славой «германских Афин». Ее пытливое глубокомыслие ставило в тупик самого Лейбница, который говаривал, что не всегда возможно отвечать на ее мудреные вопросы. Обе курфюрстины страстно желали увидеть царя, который, по слухам, желал просветить свой варварский народ, и примчались в Коппенбург за несколько часов до приезда Петра, в сопровождении семидесятилетнего герцога Цельского, трех сыновей Софии Шарлотты, придворных дам и кавалеров и труппы итальянских певцов.

Петр, приехавший в город в восемь часов вечера, был неприятно поражен готовящимися смотрами. Камергеру, посланному за ним курфюрстинами, пришлось целый час уговаривать его принять приглашение. Наконец Лефорт присоединил свой голос к его просьбам. В самом деле, кавалеру Питеру придется поехать. Ничего не поделаешь. Надо помнить, что мнение Европы о его милости во многом будет зависеть от того, как отзовутся о нем эти ученые стервы. Петр сник. Ну хорошо,



он поедет. Но с одним условием — ужин состоится в узком семейном кругу, без всяких церемоний.

У подъезда дома, занятого курфюрстинами, толпились разочарованные придворные, желавшие, по крайней мере, взглянуть на царя, когда он будет выходить из кареты. Однако им удалось увидеть одних великих послов; Петр пробрался в дом через заднее крыльцо.

Курфюрстины встретили его в зале перед столовой. Их величественная осанка и изящные манеры ввергли Петра в онемелость. Деликатные штучки — куда там его Анхен! Эти уже верно не станут благодарно визжать, если их хлопнуть по заду. И о чем с ними говорить? Все, пропал!.. Что теперь скажет Европа?

Он, как ребенок, закрывал рукой покрасневшее лицо, и на все любезности курфюрстин отвечал одно:

— Не могу говорить!

В конце концов он поручил Лефорту вести беседу от своего имени.

Впрочем, за столом, после нескольких бокалов вина, его застенчивость прошла. Курфюрстины посадили его между собой и болтали без умолку четыре часа, пока не истощили свой запас остроумия. Захмелевший Петр шутил, смеялся и вел себя как дома, заставляя порой шокированных дам недоуменно переглядываться. С Софией Шарлоттой он обменялся табакерками, к ее большому удовольствию. К концу ужина курфюрстины уговорили его позволить войти придворным дамам и кавалерам. Петр кивнул. Хорошо, только, чур, он встретит их по-своему, по-московски. Как только придворные вошли, он поставил у дверей Лефорта с приказом никого не выпускать и влил в каждого из вошедших, не разбирая пола и возраста, по три-четыре больших стакана вина. Курфюрстинам тоже пришлось выпить, по московскому обычаю стоя, за здоровье Петра, своих мужей и свое собственное. После этого они больше не переглядывались.

Во втором часу ночи София Шарлотта пригласила гостей в другую комнату послушать ее итальянских певцов.

Музыканты уже сидели на своих местах за нотами. Рядом с ними стоял человек, неприятно поразивший Петра какой-то рыхлой, изнеженной полнотой и набеленным мукой лицом, на котором выделялись только густые черные брови, по-женски томные глаза и жирные, сочно-алые губы. Петр решил про себя, что это, видимо, шут, который немного развлечет их перед



началом представления. Он совсем утвердился в этом мнении, когда толстяк сделал напряженное лицо и заголосил совсем бабьим визгом, уморительно вытягивая губы и округляя глаза. Петр хотел засмеяться, но осекся, заметив, что курфюрстины, напротив, придали своим лицам благоговейное выражение. Он недоуменно притих, вслушиваясь в чудной переливчатый визг, и вскоре почувствовал, как внутри у него что-то раскрывается навстречу этим звукам, отвечает им... Он вполголоса поинтересовался у сидевшего рядом вельможи, отчего толстяк поет таким тонким голосом, и, услышав насмешливый ответ, внутренне содрогнулся, в то же время чувствуя, что непривычное удовольствие, испытанное им от пения, ничуть не уменьшилось от этого неприятного открытия. Все же на вопрос Софии Шарлотты, как ему понравилось пение, честно признался, что музыку не любит, а любит плавать по морям, строить корабли и пускать фейерверки, — и дал пощупать ей свои мозолистые руки.

Под утро всем скопом пустились в пляс. Старшая курфюрстина открыла бал в паре с толстым Головиным, за ней весело поскакали Лефорт с молодой графиней Платен, в третьей паре чинно выступил Возницын со старой графиней Платен. Петр, по обыкновению, переплясал всех, пройдясь по кругу с каждой из дам, и в недоумении пожаловался Лефорту: как, однако, чертовски жестки эти немки — ребра так и торчат! Лефорт приснул. О майн гот, да ведь это же корсетные косточки!..

Распрощались на рассвете. В порыве умиления Петр приподнял за уши десятилетнюю принцессу Софию Доротею (будущую мать короля Фридриха II Великого) и два раза чмокнул в щеки, испортив ей прическу.

Курфюрстины валились с ног от усталости. Слава богу, смотрины, кажется, сошли благополучно. Какой, однако, необыкновенный человек этот царь Петр! Сколько природного ума, сколько познаний! Неужели он в самом деле знает в совершенстве четырнадцать ремесел? Между тем странно, что его не обучили опрятно есть, использование салфетки вовсе не роняет достоинства монарха. Но зато какая естественность и непринужденность! Что касается его гримас, то их расписали хуже, чем они есть в действительности. Словом, превосходный государь. И вместе с тем очень дурной.



В это время в Миндене царя дожидался еще один любопытствующий немец — Лейбниц. Знаменитый ученый питал самые нежные симпатии к славянству, поскольку считал себя славянином по происхождению — общему с древней фамилией польских графов Любенецких. «Пусть Германия не слишком гордится мной, — во всеуслышание заявлял он, — моя гениальность не исключительно немецкого происхождения; в стране схоластиков во мне проснулся гений славянской расы». До сих



Домик в Саардаме, в котором жил Петр I. Гравюра Х. Мешеля, 1794 год

пор Лейбниц восхищался Польшей, указывая на нее как на природный оплот Европы против любых варваров, будь то турки или москвиты. Однако заграничное путешествие царя перевернуло его взгляды. Лейбницу порядком осточертело бесконечное польское безнарядье; Петр же хотя, может быть, и оставался варваром, но варваром с великим будущим: Лейбниц причислял его к одному разряду с китайским императором Кан-Ки-Амалогдо-Ганом и абиссинским королем Ясок-Аджам-Нугбадом,



тоже замышлявшими великие дела. Рассчитывая на проезд царя через Минден, Лейбниц наскоро набрасывал план преобразований в России, намереваясь представить его Петру при личной встрече.

Но Петр даже не остановился в Миндене: ученые, не строившие корабли и ничего не понимавшие в изготовлении фейерверков, еще не интересовали царя. На другой день после свидания с курфюрстинами Петр покатил дальше, опережая посольство. И вновь за окном кареты замелькали немецкие города — Гаммельн, Герфорд, Бильфельд, Ритберг, Липстат, Люнен... Вот, наконец, и Рейн — теперь уже рукой подать до Амстердама.

Удивительные вещи происходили в начале августа 1697 года в Саардаме — небольшом городке под Амстердамом.

Всюду только и разговоров было, что о загадочном путешественнике из далекой Московии. В воскресенье старый саардамский плотник Хаут зашел в цирюльню и прочел вслух письмо, полученное из Архангельска от сына. В письме рассказывались чудеса: в Голландию едет большое русское посольство и при нем — под чужим именем — сам царь; описал младший Хаут и наружность царя. И тут, как нарочно, отворяется дверь и входят в цирюльню русские плотники, а у одного из них — молодого человека с округлым испитым лицом и тонкими кошачьими усиками, одетого в красную фризовую куртку, белые парусиновые штаны и в лакированной шляпе на голове — точь-в-точь те приметы, о которых говорилось в письме: и ростом великан, и головой трясет, и рукой размахивает, и бородавка на щеке. На вопрос, что они за люди, христиане ли они (тут слышали, что московитских послов в Клеве крестить станут), молодой человек с усиками рассмеялся, живо сверкнув большими умными глазами, и ответил по-голландски:

— Мы простые плотники, ищем работы.

После обеда по городу разнеслась весть, что странный московитский плотник остановился в доме корабельного кузнеца Геррита Киста, что в западной части Саардама, на Кримпе. Домик у Киста, прямо сказать, никудышный — деревянный, в два окна, разделенный на две небольшие комнатки, с пристроенным у входа чуланчиком. Любопытным, толпившимся перед домом, кузнец неохотно сказал, что зовут плотника Питером Михайловым и что они с ним знакомы по тем временам, когда он, Кист, работал на царской службе в Москве. А на предло-



жение подыскать себе дом получше плотник Питер ответил: «Мы не знатные господа, а простые люди, нам довольно и нашей каморки».

Вечером саардамцы недоверчиво качали головами: называется простым плотником, живет в каморке, а купил себе ялик за 450 гульденов!

На другой день, в понедельник, плотник Питер еще больше озадачил почтенных жителей Саардама. Рано утром, накупив в лавке плотницкого инструмента, записался корабельным плотником на верфи Линста Рогге. Потрудившись наравне со всеми, зашел в местный трактир — герберг — подкрепиться, а потом навестил семейства саардамских плотников, выехавших в Москву. У Марии Гутмане, матери Томаса Иосиаса, выпил стакан джину, у жены Яна Ренсена угостился пивом. Анте Метье, спросившей его о своем муже, сказал:

— Он добрый мастер, я его хорошо знаю, потому что рядом с ним строил корабли.

— Разве и ты плотник? — сузила глаза недоверчивая Анте.

— Да, и я плотник, — простодушно ответил Питер Михайлов.

Анте, положим, ему и поверила, но вот что должна была подумать вдова мастера Клааса Муша, умершего в Москве, когда плотник Питер выдал ей от имени царя 500 гульденов? Вот так плотник — с царями знается! Опустила глаза и попросила плотника Питера передать при случае московитскому царю ее признательность за щедрую милость, утешившую ее в горьком вдовстве. Плотник Питер пообещал, что ее слова дойдут до его государя, и с удовольствием остался у нее обедать.

Через несколько дней новое происшествие сгустило ореол таинственности вокруг московитского плотника.

Возвращался Питер Михайлов с верфи к себе домой и по дороге купил слив. Тут же его обступили мальчишки и стали попрошайничать. Плотник Питер одним дал слив, а другим нет, забавляясь их негодованием, да еще запустил кому-то в лоб косточкой. Обделенные сорванцы закидали обидчика песком и камнями, так что пришлось плотнику Питеру искать спасения в герберге. На другой день после этого случая бургомистр издал указ, чтобы никто не смел оскорблять знатных иностранцев, которые хотят остаться неизвестными.

Тут уж что хочешь, то и думай. Пронесся слух, что этот плотник — родственник русского царя. С этого дня домик Киста плотно окружала праздная толпа.



Случилось как-то плотнику Питеру выйти из дома. Было заметно, что он спешил куда-то, а между тем пробраться сквозь толпу не было никакой возможности. Его обступали, останавливали, хватая за руки и платье, и разглядывали, как диковинного зверя. В конце концов у Питера Михайлова задержалась щека, он взбесился и начал прокладывать себе дорогу кулаками, молотя направо и налево. Попасть под его кулак, надо сказать, было не здорово.

Мещанин Цимзен, тучный и краснолицый, никак не мог как следует рассмотреть царского родственника. Приподнимался на цыпочки, пробовал пролезть вперед — его не пускали. А тут толпа раздалась, и он, догнав Питера Михайлова, схватил его за руку и умоляюще простонал:

— Стой, стой! Дай поглядеть хорошенько.

Плотник Питер обернулся, дико сверкая глазами:

— На вот, гляди!

Две здоровенные оплеухи едва не сбили Цимзена с ног. Обо-зленный голландец засопел и сжал кулаки, но тут между ним и Питером Михайловым выросла фигура худощавого молодого человека с южным типом лица. Это был Антон Эммануил Виер²⁷, полуиспанец, полупортугалец, один из тысяч иностранцев, кото-рыми кишел Амстердам.

Виер заслонил собой Питера Михайлова от Цимзена. Пусть почтенный господин не обижается — эти оплеухи на самом деле ему великая честь. Если уж правду сказывают, что сей плотник царского рода, то почтенный господин может считать себя дво-рянином — своим прикосновением Питер Михайлов пожаловал его в рыцари.

Это объяснение понравилось толпе. Раздался общий хохот, послышались полуиздевательские крики:

— Цимзен — рыцарь! Цимзен — рыцарь!

Растерявшийся голландец опустил кулаки, а Питер Михай-лов, обняв за плечи Виера, быстро зашагал прочь.

Вскоре инкогнито Питера Михайлова и вовсе прекратилось. 16 августа в Амстердам приехали великие послы. Встречали их всем городом, ведь такого именитого посольства в Голландии еще не бывало! Шутка сказать — сразу три вице-короля: Нов-городский, Сибирский и Волховский! Но все эти вельможи

²⁷ Будущий петербургский генерал-полицмейстер Девиер.



в золотых кафтанах, важные и сановитые, явились поклониться плотнику Питеру Михайлову. В толпе, окружившей в этот день домик Киста, находился и Цимзен. Питер Михайлов узнал его и добродушно попросил извинения за обиду. Цимзен расплылся в улыбке. Какие там обиды! Он считает себя возведенным в дворянское сословие и просит прислать ему соответствующую грамоту за царской подписью и государственной печатью. Улыбнулся и Питер. Что ж, он обещает по возвращении на родину поговорить об этом с московским царем.

Назойливое саардамское любопытство прискучило Петру, и он вернулся вместе с послами в Амстердам, где их ждали парадный обед и фейерверк. За столом он обратился к амстердамскому бургомистру Николаю Витзену с просьбой устроить его на одну из здешних верфей. Витзен был давний знакомец московских государей. Еще при царе Алексее Михайловиче он посетил Россию в составе голландского посольства, объездил Сибирь и написал книгу «Северная и Восточная Татария», один экземпляр которой подарил кремлевской библиотеке. По поручению Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, князя Голицына и самого Петра



*Петр I беседует с мастерами корабельного дела в Саардаме.
Гравюра Н.-Б. Мишеля, 1858 год*



Витзен неоднократно с успехом устраивал различные заграничные дела русского правительства. И теперь он не замедлил откликнуться на просьбу. Мастер Питер желает усовершенствоваться в корабельном искусстве? За чем же дело стало! Он, Витзен, как директор Ост-Индской компании, прикажет заложить на его верфи стопушечный фрегат, чтобы любознательный гость смог ознакомиться со всеми этапами кораблестроения и оснастки.

Петр заерзал на стуле. У него еще хватило терпения дожидаться конца фейерверка, но, как только угасли его искры, он пожелал немедленно отправиться в Саардам за своими вещами и инструментами. Отговорить его от поездки в ночное время не удалось. Витзену пришлось послать за ключами от городской заставы и приказать опустить подъемный мост.

Утром 20 августа Петр приступил к работе под руководством корабельного мастера Геррита Клааса Поля. Ежедневно с восходом солнца отправлялся на верфь и проводил там весь день. В перерывах, дымя трубкой, запросто болтал с голландскими моряками и плотниками, но, как только трубка гасла, обрывал разговор и возвращался к работе. Откликался по-прежнему лишь на прозвания «плотник Питер» или «мастер Питер»; если же слышал «ваше величество», тут же поворачивался к говорившему спиной. После работы заходил в какой-нибудь герберг, а вечером катался на купленном ялике по каналам и Эйсселмеру. Хмель, чистый блеск звезд и вольный ветер над огромным, смутно темнеющим заливом заставляли его острее и слаще чувствовать свое одиночество, свою свободу.

Над сооружением фрегата вместе с царем трудились русские волонтеры из посольской свиты. Двое из них — Меншиков и Кикин — как бы временно заняли в сердце Петра место Лефорта, который уехал в Утрехт вести переговоры с английским королем и голландским штатгальтером Вильгельмом о помощи против турок. Оба были царскими денщиками, оба Алексашками (Кикина Петр ласково называл дедушкой — из-за ранней седины), оба быстро постигали корабельную науку и не знали пощады в боях с Ивашкой Хмельницким.

Зато боярские дети, посланные в Амстердам учиться навигации, вызвали гнев царя: выучив компас, хотели, шучьи дети, ехать к Москве, не быв на море, чаяли, что кончена наука. Но мастер Питер их намерение переменял — определил их на голландские корабли: матросские сухарики отведать и ртом



поср...ть. Некоторые возмутились: невместно сие с их боярским достоинством, а уж царскому величеству плотничать — и подавно. Узнав про такие разговоры, Петр побагровел. В цепи дураков и головы прочь! Но тут всполошился Витзен. Помилуй бог, здесь не Московия! Голландия — свободная страна, в которой людей не казнят без суда. Если мастер Питер непременно желает наказать московитских бояр, то можно сослать их в отдаленные голландские колонии. Проклятые богом места — малярия, лихорадка... В общем-то та же казнь, только без лишнего шума. Петр нехотя уступил, и голландский корабль повез неосторожных говорунов к островам Индонезии.

Тем временем переговоры в Утрехте зашли в тупик. Три конференции окончились безрезультатно: голландские власти отказывались помочь Москве в войне с Турцией, боясь рассердить этим Францию. Лефорт извещал царя: «Конференции, можно быть, еще одна на тум недели будет... Будет ли добра, Бог знает: ани не хотят ничаво дать».

Петр отправился в Утрехт, чтобы в личном свидании с Вильгельмом Оранским добиться желаемого. Витзен должен был всюду водить его и все ему показывать — китобойные суда, госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские. Петр не давал ему ни минуты покоя и вконец замучил старика. Бывало, возвращаются ночью с приема у штатгальтера; усталый Витзен клонит носом в карете. Вдруг Петр толкает кучера в спину: «Стой! Что это такое?» — и надобно зажигать фонари, вылезать из кареты и показывать какую-нибудь ветряную мельницу. А уж тут минуткой-другой не обойдешься! Дотошен мастер Питер, влезает во все мелочи, в самую суть всякого дела. Ветряную мельницу остановит за крылья, чтобы рассмотреть ее механизм, с бумажной фабрики не уйдет, пока не откинёт лист безукоризненной формы, в граверной надолго засядет за медную доску, вытравляя на ней аллегорическую картину победы христианства над мусульманством. А провожатые — стой и жди, когда мастер на все руки вспомнит о них.

И еще одно было удивительно — необъяснимая страсть Петра ко всему мертвому, разъятому или искусственно сотворенному. Ни один живой человек не вызывал у него такого неподдельного интереса, как хорошо препарированный труп. В анатомическом кабинете профессора Гюйса он слушал лекции по анатомии и особенно заинтересовался бальзамированием трупов — этой



пародией жизни, фальсификацией вечности, оскорбительным и безобразным искусством, в котором Гюйсу не было равных. Отлично приготовленный труп ребенка вызвал его восторг. Совсем живой! И улыбается так нежно! Не помня себя от восхищения, Петр нагнулся и горячо поцеловал бездушное личико. В анатомическом театре другой голландской знаменитости — Бюргаве — Петр сам напросился на вскрытие трупа и, заметив отвращение на лицах своих русских спутников, использовал их в качестве инструмента: заставил зубами разрывать мускулы трупа и перекусывать сухожилия. Потом впился глазами в мертвую плоть. Вот сердце, легкие, почки, а в почке камень родится; жила, на которой легкое живет, как тряпица старая; мозговые жилы — как нитки... Зело предивно. Во время морской прогулки в Лейден он два часа не мог оторваться от микроскопа, под которым Левенгук демонстрировал ему свои препараты.

Между тем и штатгальтер Вильгельм не жалел денег на развлечения для мастера Питера и великих послов. Показали гостям дивные танцы и иные утешные вещи и перспективы — балет и комедию. Зрелище для мастера Питера было новое и необычное, так что и тут потребовались разъяснения Витзена. Вначале объявились палаты, и те палаты то есть, то вниз уйдут — и так шесть раз. Да в тех палатах объявилось море, колеблемое волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака с людьми вниз опускаться и, подхватя с земли человека под руки, опять вверх пошли. А те люди, что сидели на рыбах, тоже поднялись за ними на небо. Да спускался с неба на облаке сед человек в карете, да против него в другой карете прекрасная девица, а аргамаки под каретами как бы живы, ногами подергивают. Господин бургомистр пояснил, что старик — солнце, а девица — луна. Потом объявилось поле, полное костей человеческих, и враны прилетели и почали клевать кости, а в море объявились корабли, и люди в них плавают. А потом выскочило человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубиться и из пищалей стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходили из занавеса в золоте и танцевали, и многие диковинки делали... Место же, где сидели великие послы с мастером Питером, устлано было коврами и обито сукном, и на столе перед ними поставлены фрукты и конфекты многие, и потчевали штатгальтер с бургомистром великих послов прилежно.



Все сии диковинки подробно описывал Петр в письмах к Виниусу — единственному человеку в Москве, который мог их понять. Виниус в ответных грамотах отчитывался мастеру Питеру о делах, а протодьякону всепьянейшего собора — о сражениях с Хмельницким: как они с князем-папой, князем-кесарем и другими соборянами «Ивашку с дядей²⁸ из своих великих мокрых серебряных и цкляных можеров в желудок бросали». Ивашку не забывали и в Голландии. Петр, извиняясь перед компанией за то, что пишет неисправно, сетовал, что «иное за недосугом, а иное за отлучкой, а иное за Хмельницким не исправишь».

Со всем тем добиться от штатгальтера помощи для войны с турками не удалось. На четвертой конференции послам ничего не оставалось, как выговорить Штатам пространно за такую несклонность и неблагодарность. Чтобы смягчить свою неуступчивость, Вильгельм подарил мастеру Питеру двадцатипушечную яхту — лучшую в английском флоте.

В октябре посольство ни с чем вернулось в Амстердам. Здесь мастера Питера ждало новое огорчение. Хотя фрегат был готов и благополучно спущен на воду, особой радости это событие Петру не доставило. То, чего он искал — точной корабельной науки, — в Голландии не оказалось: амстердамские плотники определяли пропорции корабля на глазок, по опыту, а показать их на чертеже не умели. Петр, невеселый, сидел в гербергах, тянул джин и пиво, без конца дымя трубкой. Что же — зря ездил? Угробил время, казну — и все впустую? На дворе купца Яна Тесинга знакомые моряки и плотники поинтересовались, отчего мастер Питер слова никому не скажет. Он нехотя пояснил. Англичанин, сидевший за дальним столиком, громко заявил, что горевать тут не о чем: если мастер Питер интересуется корабельной архитектурой, пусть едет к ним, в Англию, — там сия архитектура процветает так же, как и все другие.

Петр засобирался в дорогу. С собой нужно ему было, собственно, только одно — аттестат от мастера Герберта Поля, каковой он с великим удовольствием и получил. В аттестате было прописано, что означенный корабельный плотник Петр Михайлов во все время своего пребывания в Амстердаме был прилежным и разумным плотником, а также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, прилаживании, натяживании,

²⁸ То есть Бахусом.



плетении, конопачении, стругании, буравлении, распиливании, мощении и смолении поступал, как доброму и искусному плотнику надлежит, и помогал в строении фрегата «Петр и Павел» от закладки его и почти до окончания. Такой же зельный аттестат выдан был и Меншикову, который в Голландии как-то незаметно превратился из Алексашки в Данилыча.

Шхуна, перевозившая русских волонтеров из Амстердама в Лондон, из-за непогоды почти трое суток держалась голландского побережья. Тянулись острова и островки, прибрежные города и городишки, совсем не скучные в своем однообразии: собор с непременными часами, старые улицы, тесные, узкие, причудливо-кривые, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами, дома набегают друг на друга; внизу — маленький порт, где теснятся суда, рей шхун угрожают окнам домов на набережной... Сам Ла-Манш — не то море, не то река или скорее морская улица: всюду рыболовные барки, шлюпки, двух- и трехмачтовые корабли...

Рано утром 10 января, в сумерках, шхуна вошла в Темзу. Волонтеры разместились в трех частных домах, снятых для них английским правительством. Королевский камергер от имени Вильгельма поздравил гостей с благополучным прибытием. Спустя три дня нанес частный визит и сам король. В Лондоне нашлось немало придворных дам, готовых предоставить плотнику Питеру более уютное пристанище в своей спальне, но он больше интересовался внутренностями общественных зданий — побывал в королевском научном обществе, королевском арсенале, на монетном дворе, в обсерватории и в парламенте, где, посмотрев на заседание в присутствии короля, заметил своим русским спутникам, что неплохо бы и им научиться говорить правду в глаза государю. Впрочем, посетив театр, свел кратковременное знакомство с актрисой Летицией Кросс (дамы почище все еще пугали его великосветскими манерами). Дома у себя Петр принял лишь одну женщину — бродячую великаншу четырех аршин ростом, под чьей вытянутой рукой он прошел не нагибаясь.

Но лондонские достопримечательности вместе с рассеянной светской жизнью вскоре надоели ему, и Петр решил



перебраться в Дептфорд — город доков и верфей, чтобы вплотную заняться теорией кораблестроения. Летиция Кросс получила отставку. Трудная наука безболезненного расставания с любовницами все еще не входила в число наук, усвоенных Петром в совершенстве, и главным препятствием в ее усвоении была скупость царя. Правда, пока он имел дело с московскими боярышнями, кукуйскими фрейлейн, дочерьми голландских домовладельцев и их горничными, обходилось без скандалов — все они довольствовались небольшим подарком или одной оказанной им честью. Но когда Меншиков от имени царя передал Летиции Кросс последнее прости и пятьсот гиней, актриса, привыкшая опустошать вместе с сердцами английских лордов и их кошельки, взбунтовалась. Меншиков в душе и сам не одобрял подобной скупости в сердечных делах и потому слово в слово передал Петру все выражения, к которым прибегла недовольная Летиция. Петр, однако, только ухмыльнулся: «Ты, Данилыч, думаешь, что я такой же мот, как ты. За пятьсот гиней у меня служат старики с усердием и умом, а эта худо служила». Меншиков пожал плечами. Что ж, какова работа, такова и плата. Господину уряднику, конечно, виднее...

Гинеи, потраченные на актрису, Петр вернул, выиграв пари с герцогом Лейдским: царь выставил одного из своих волонтеров против знаменитого лондонского боксера. Англичанину не поздоровилось.

В Дептфорде Петр снял дом адмирала Джона Бенбоу и углубился в черчение корабельных планов и математические выкладки. Часто ездил на верфи и посещал Вулич, знаменитый литейным заводом и обширнейшим в мире арсеналом, — отвеживать метания бомб и учиться морской артиллерии. В дни, когда английская погода была особенно английской, в походном журнале появлялась запись: «Были дома и веселились довольно», то есть пили целый день за полночь. Особенно бурно отпраздновали заключение договора на ежегодные поставки в России английского табаку. Петр считал, что договор обеспечит казне 200 000 рублей чистого дохода. На радостях учинили такой бой с Ивашкой Хмельницким, больше какового и быть невозможно, со многим выкриканием «виват!». Да тут же сочинили и послали в Москву указ, который, против всех прежних указов, позволял всем подданным, какого ни есть чина, никоциан курить и употреблять.



Между тем в Лондоне не забывали высокого гостя. В марте Вильгельм попотчевал Петра примерной морской битвой близ острова Уайт. На обратном пути царь посетил Виндзор и нашел, что дворец зело изряден. Однако поспешил в Дептфорд — верфь для него была привлекательнее.

Приезжали в Дептфорд английские епископы во главе с епископом Солсберийским Бернетом. Посидели полчаса, поболтали о том о сем. Несмотря на то, что Петр крайне заинтересовался устройством англиканской церкви с ее подчинением королю, Бернет покинул Дептфорд в не совсем набожном недоумении относительно путей Провидения, вручившего такому необузданному человеку власть над столь значительной частью света.

А на другом берегу моря Лефорт, оставшийся в Амстердаме, читал веселые письма волонтера Михайлова и жаловался: «Господин командёр! Слава богу, што вы здорове живете у Лонду город, а мы здесь не очень веселием, для ради: у нас нету лакрима кристи и англиески бутель сек²⁹ нету. Если изволишь долги жить в Англески земля, пужалесту, прешли пития доброй; али я с кручина умру, али к тебе поеду. А воистине, без тебе нельзя мне жить, не забывай слуга твоё».

Весной Петр внял голосу доброго друга, и 25 апреля покинул Англию.

После его отплытия адмирал Джон Бенбоу осмотрел свой дом и пришел в ужас. На стол королевской канцелярии лег счет, оплатить который адмирал намеревался заставить правительство, навязавшее ему таких постояльцев. Длинная опись повреждений повергла в дрожь королевского казначея. Полы и стены заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, каминны полуразрушены, занавески оборваны, перины и подушки выпотрошены, картины на стенах служили мишенью для стрельбы, газоны в саду затоптаны так, словно по ним маршировал целый полк в железных сапогах... Да ни одна лондонская таверна не знала таких разрушений! Убыток, оцененный в огромную по тем временам сумму в 350 фунтов стерлингов, был адмиралу возмещен.

²⁹ «Лакрима Кристи» («Слезы Христа») — известная марка итальянского вина; дальше Лефорт пишет о шампанском («сек»).



Среди почты, дожидавшейся царя в Амстердаме, было неприятное донесение от русского посланника в Вене о том, что там появился какой-то польский ксендз, который всюду рассказывает, будто в Москве вспыхнул бунт, царевна Софья возведена на престол, князь Василий Голицын освобожден из ссылки и вновь вступил в управление государством и весь народ присягнул царевне. Но письма от Ромодановского и Виниуса не содержали никаких тревожных известий, и Петр махнул на ксендза рукой. Обычный брехун! Вскоре, однако, подтвердилось, что дыма без огня не бывает.

Богомольцы, странники и нищие, несметными толпами стекавшиеся в Москву на праздники, давно уже не ходили к Девичьему монастырю — знали, что все равно не пустят: сто солдат Преображенского и Семеновского полков днем и ночью несли караул у ворот, на стенах и башнях монастыря, пресекая всякое общение заточенной царевны с посторонними.

Софье были отведены кельи, выходившие окнами на север, на Девичье поле. При ней находились прислужницы — мамка, две казначеи и девять постельниц. Сестры и другие родственники могли навещать ее только в большие праздники. В затворе Софья совсем опустилась: спала по десять-двенадцать часов, ходила нечесаная и неприбранная, пропускала церковные службы, до которых прежде была большая охотница. Вместе с тем она нашла утешение в хорошем столе, благо корма и питья ей отпускали вдоволь — ежедневно с Кормового и Хлебного дворов в Девичий монастырь доставляли 4 стерляди паровых, 6 стерлядей ушных, 2 щуки, леща, 3 язя, 30 окуней и карасей, 3 связки белорыбицы, 2 ведра икры зернистой, 2 ведра сельдей, 4 блюда просоленной стерлядины, хлеб белый, красносельский, сайки, калачи, пышки, пироги, караваи, ореховое масло, пряные зелья, сахарные головы, леденцы белые и красные, конфеты; запить все это можно было ведром меда приказного и ведром пива мартовского, двумя ведрами пива хмельного легкого, двумя ведрами браги, ведром водки коричневой и пятью кружками водки анисовой. Она ела много и часто, с тем наслаждением, которое доставляет пища очень одиноким людям; но бывало, что она часами сидела у окна, не притронувшись к яствам, тупо уставившись на темно-зеленые кафтаны караульных солдат, — неопрятная, безобразно растолстевшая.



И вдруг с некоторых пор царевна преобразилась: вновь зачастила на церковные службы и смотрела на солдат таким яростно-огненным взглядом, что им становилось не по себе. Кой-кто, может, и подмечал, что настроение у царицы обыкновенно поднималось после того, как приходила к ней от сестры, царицы Марфы Алексеевны, карлица Авдотья с различными подарками — рукоделием, кушаньем, сладостями; но никто не догадывался, что в этой стряпне спрятаны были сестрины цидулки, а в тех цидулках шли к Софье сообщения, что в стрелецких полках неспокойно. Сама царица Марфа также получала сведения тайным образом. У себя на дворе она по обычаю угощала нищих: в мясоед и скоромные дни — студнем, языками говяжьими, гусями жареными, ветчиной, курами в кашах, караваем, пирогами с говядиной и яйцами; в посты — икрой армянской, соленой белужьиной, сметками, караваем с рыбой, пирогами с кашей; выкатывала вдоволь вина двойного, меду цеженного и пива явного. Некоторых убогих пускали наверх, в царевнины хоромы, и потому не было ничего необычного в том, что туда часто хаживали две нищие стрельчихи — Чубарого полка Анютка Никитина и Анненкова полка Офимка Кондратьева, прозванием Артарская, бойкая баба, бывшая замужем сразу за тремя стрельцами. На деле обе стрельчихи мотались между дворцом и полками своих мужей, снабжая царицу Марфу сведениями о настроениях в стрелецких кругах.

А настроения там были невеселые. Стрелецкие полки были расквартированы в Азове, на южных окраинах и у литовского рубежа. Вот уже третью зиму они вспоминали Москву, тоскуя по привольной семейной жизни, теплых изб и сытой трапезе, проклиная корабли, гавани, фортеции и злобясь на бояр и иноземцев, таскавших их по службам. Громче других роптали стрельцы четырех полков, стоявших в Великих Луках, которыми командовали полковники Федор Колзаков, Иван Черный, Афанасий Чубаров и Тихон Гундертмарк; толковали, что царь явно сложился с немцами и уехал жить к ним за границу, а вместо него правят несправедливо бояре, отягощая народ.

В Великий пост 1698 года объявились на Москве полтора беглецов из этих четырех полков — жаловались, что ушли от бескормизы. Встретили они на Ивановской площади своих старых знакомых, московских подьячих, и первым словом услышали: «Государь наш залетел на чужую сторону! Боярин Тихон



Стрешнев хочет быть царем на Москве, а вам уже на Москве не бывать!» Страшные слова, да и вообще время какое-то лихое, небывалое — не последнее ли? Всюду толки о старой и новой вере. Где ни сойдутся двое — сразу заспорят о божественном, и первый вопрос: как ты в перстном сложении крестное знамение на себя кладешь? А иноземные еретики ходят по Москве и сеют смуту. Подойдет такой папешник к прохожему попу: «Почему русские крестятся не так, как католики?» Поп покачает головой и хочет дальше идти, а тот пристанет — протянет карандаш и бумагу и попросит нарисовать крест. Ну, батюшка при начертании и проведет поперечную линию слева направо. А еретику только того и нужно. «Почему же, — кричит, — русские не крестятся так же, как пишут кресты, — слева направо?» Поп и не знает, что сказать, только плюнет и бежит, подобрав полы, от соблазна.

Целых два дня укрывались стрельцы в слободах, и бояре про то ничего не знали. А Софья знала. В тот же день, как они появились, царевна Марфа прислала ей записочку в стряпне: «Стрельцы к Москве пришли». — «Что будет им?» — спросила Софья запиской же через карлицу. «Велено рубить». — «Жаль их, бедных!» — написала Софья, и вечером стрельчихи рассказывали беглым стрельцам, что несправедливо заточенная государыня царевна за них Богу молится. А на другой день в стрелецком кругу на Арбате, у церкви Николы Явленного, двое главных заводчиков, Борис Проскуряков и Василий Тума, читали собственноручное послание государыни царевны к православному стрелецкому воинству. «Ведомо мне учинилось, — писала Софья, — что ваших полков приходило к Москве малое число, и вам бы быть к Москве всем четырем полкам и стать под Девичьим монастырем табором, и бить челом мне идти к Москве на державство; а если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать не стали, то вам бы чинить с ними бой, их побить и к Москве быть».

При следующем посещении карлицы Софья велела ей шепнуть Артарской: «У нас в Верху позамялось: хотели было бояре государя царевича удушить, а царицу по щекам били. Хорошо, кабы подошли стрельцы. А государь неведомо жив, неведомо мертв».

Наконец о присутствии в Москве беглецов, равно как и о гулявших по городу слухах, прознало правительство. Рубить их никто не собирался. Нарышкин, Голицын, Ромодановский



и Виниус, не получив от царя за распутицей нескольких писем, растерялись; Виниус даже отписал Лефорту, прося сообщить, как здоровье его величества. Сохранил хладнокровие один Гордон. Приведя в порядок свой Бутырский полк, он наутро перехватал стрельцов по слободам, вытащив их из теплых жениных постелей, и отправил под конвоем в Великие Луки дослуживать. Стрельцы покорились. Буянили только двое: одного солдаты тут же и прибили до смерти, другого сослали в Сибирь.

По дороге нагнала стрельцов сестра Тумы, стрельчиха Улья Еремеева, с другим письмом от Софьи: «Ныне вам худо, а впредь будет еще хуже. Идите к Москве. Чего вы стали? Про государя ничего не слышно». После этого только и речи было во всех четырех великолукских полках, что государя за морем не стало, а царевича хотят удушить бояре, только и думы было в стрельцких кругах идти к Москве, бояр перебить, Кукуй разорить, немцев перерезать, а дома их разграбить. Молодые слушали старых, *верных* Софьиных и говорили меж собой: «Наживем же мы по шапке денег!» Полковые священники слышали все это, но безмолвствовали и не доносили воеводам, великого страха ради.

Переписка стрельцов с Софьей осталась неизвестной как московскому правительству, так и царю. Петр смеялся над своей компанией, спасовавшей перед двумя сотнями стрельцов: «Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий?» Виниуса ругнул за истерику. Строже всех выговорил князю-кесарю, припомнив ему свое напутствие перед отъездом за границу: «Для чего ты сего дела в розыск не вступил? Не так было говорено на загородном дворе в сенях».

Впрочем, гораздо больше он осерчал на Ромодановского за другое. Написал ему князь-кесарь, что корабль переяславский сгнил — разве новый делать? «Не только что новый делать, — с досадой отписал Петр, — мы и о старом тужим, что так сделано». Ромодановский в новом письме засомневался: «Мастер говорит, что починить нельзя». Плотник Питер, аттестованный лучшими корабельными мастерами Голландии и Англии, вскипел. Яйцо курицу учит! Ответил в гневе: «Неправда, можно, хотя б половина сгнила». Тем дело и кончилось. Увидеть своего первенца Петру не довелось. Когда он в следующий раз вспомнил о нем, корабль сгнил окончательно.



Князь-кесарь Ромодановский

Неприятности нарастали как снежный ком. В середине апреля великому посольству стало известно, что цесарь — главный союзник России в войне с Турцией — приступил к переговорам с турками о мире, о котором за спиной великих послов особенно хлопочут Англия и Голландия, желающие, чтобы у Австрии развязались руки в надвигающейся войне с Францией. Петр не сразу мог поверить в такое двуличие. Как же так? Вильгельм и Витзен, оба такие любезные, такие радушные, множество раз клялись ему в дружбе, заверяли в неизменной доброжелательности... Выходит, все это время под дружелюбными масками таилось предательство? Вот, значит, какова истинная цена их любезного гостеприимства! Губами сладки, а сердцем горьки...



Петра душил гнев. Вильгельм сидел за проливом, в Виндзоре, далекий, недоступный. Зато голландские бургомистры получили все сполна. Пригласив их к себе, великие послы усадили их за стол и спросили в упор: давно ли они миротворствуют врагу всех христиан, турецкому султану, и тем явное недоброхотство великому государю московскому оказывают? Витзен и другие бургомистры, припертые к стенке, что-то мямлили в ответ, ссылались на свою неосведомленность, просили заключить с Голландскими Штатами торговый договор и, наконец, сконфуженно умолкли. С Петра было довольно, он больше не мог смотреть на их лица. Так и не заключив торгового договора, он выехал в Вену, надеясь уговорить цесаря продолжать войну.

Ехал в почтовой коляске, намного опережая послов. 2 июня прибыл в столицу Саксонии, Дрезден. Саксонский курфюрст и польский король Август находился в это время в Речи Посполитой, однако, зная о приезде царя, распорядился принять высокого гостя как его самого. Петром вновь овладела страсть к таинственности: выходя из кареты, он прикрыл лицо шляпой и пригрозил покинуть город, если на него будут глазеть посторонние. Князь Фюрстенберг, встречавший гостя от имени Августа, с невозмутимым видом воспринял это чудачество и распорядился разгонять людей на тех улицах, по которым будет ездить царь. ¹

Двое суток прошло в роскошных пирах и экскурсиях. Петр посетил кунсткамеру, литейный двор и арсенал, где его внимание привлекло 450-фунтовое (около 185 кг) ядро, служившее Августу гимнастическим снарядом: «германский Самсон», как называли саксонского курфюрста, приподнимал его одной рукой на полметра. Царь с тремя волонтерами едва смогли оторвать ядро от каменного пола арсенала. За прощальным ужином Петр, пришедший в превосходное расположение духа, потребовал барабан и долго услаждал слух пирующих замысловатой дробью и боем, превзойдя, по мнению всех, в совершенстве игры самого искусного барабанщика. Затем он улегся на расвете в приготовленную для него в карете постель и прямо с бала отправился дальше, в Вену. Кратковременную остановку он сделал только в замке Кёнигштейн, чтобы осмотреть две удивительные емкости: колодец глубиной 187 метров и винную бочку, вмещающую 3 300 ведер; вино в ней сменялось через десять лет. С завистливым любопытством осмотрел Петр сей уди-



вительный снаряд, способный нанести сокрушительный удар Ивашке Хмельницкому, но в решительное сражение вступать не стал, ограничившись небольшой вылазкой.

Прагу проехал не останавливаясь, и застрял на целую неделю в местечке Штоккерау, в четырех милях от Вены, дожидаясь послов и ведя утомительные переговоры с цесарем об этикете въезда — традиционно важном вопросе для чопорного венского двора. Почести, о которых удалось договориться, были далеко не блистательны: венский двор не отказал бы в них последнему курфюрсту. Не желая ссориться с союзником, Петр согласился на них; заметил только, что и с цесарскими послами в Москве поступлено так же будет. Правда, в отместку, во время аудиенции у императора, он одним махом расстроил весь церемониал встречи: пригласил Леопольда к окну и беседовал с ним стоя четверть часа, а выйдя из дворца, увидел гондолу на Дунае, прыгнул в нее и катался до вечера.

В Вене Петр перестал играть в прятки и сбросил инкогнито. Он вступил в личные переговоры с канцлером графом Кинским, запросив его о дальнейших намерениях Австрии. Канцлер не спешил с ответом, зато каждый вечер приглашал царя с великими послами в оперу, где Петр, изнывавший от нестерпимой духоты и жары, а еще больше от нетерпения, то и дело выскакивал из ложи в галерею и глушил стаканами венгерское и другие вина.

Переговоры ни к чему не привели. Кинский заявил о твердом намерении цесаря заключить с турками мир на условии *uti possidetis*³⁰. Петр заволновался. В таком случае цесарь должен помочь ему вытребовать у султана Керчь: одного Азова недостаточно, чтобы прочно утвердиться на море. Кинский развел руками. Без новой войны султан не уступит ничего, а император хочет мира. Если царскому величеству нужна Керчь, пускай он поспешит взять ее оружием до начала мирных переговоров.

Делать в Вене больше было нечего. Петр уже увидел все достопримечательности — церкви, дворцы, библиотеки, а моря и верфи тут не было. Он засобирался в Венецию, посмотреть на знаменитые грозные галеры, а пока, в ожидании разрешения республики на въезд русских волонтеров, усердно посещал придворные

³⁰ *Uti possidetis* (лат.) — дипломатический термин, формула признания прав воюющих сторон на занятые ими территории.



увеселения. 29 июня он пригласил весь венский двор на свои именины. Праздник начался серенадой, данной камер-музыкантами и итальянскими певцами в посольском саду, а когда стемнело, Петр пригласил гостей на берег Дуная и сам зажег фейерверк: при звуках труб и залпах орудий разноцветными огнями вспыхнули огромные буквы «V. Z. P. A»³¹. Бал продолжался до рассвета, среди гостей было много молодоженов, решивших приурочить свадьбу к этому событию. Петр с удовольствием проплясал с ними всю ночь и на следующий день похвастался Виниусу: «Было у нас гостей мужска и женена пола больше 1 000 человек, и были до света, и беспрестанно употребляли тарара, тарара кругом, из которых иные и свадьбы играли в саду».

В ответ цесарь решил повеселить гостя великолепным маскарадом — так называемым *Wirtschaft*, на который приглашенные являлись в костюмах всех времен и народов, и, таким образом, в Хофбурге в этот день как бы оживала история человечества. Венцы не видели этого блестящего празднества уже двадцать лет (беспрерывные войны с Францией и Турцией принудили императорский двор к бережливости) и потому ожидали его с нетерпением.

В назначенный день Хофбург преобразился. Бал-маскарад проводился на половине императрицы. Здесь, в главной зале, двенадцать многоярусных хрустальных люстр и десятки настенных канделябров, отражаясь в четырнадцати огромных зеркалах, разливали ослепительный свет; расплавленный воск капал, как дождь, с тысяч свечей. По стенам висели дорогие картины в золоченых рамах, украшенных гирляндами, в воздухе благоухали цветы, расставленные так искусно, что зала казалась садом, а между кустами роз и купами левкоев, нарциссов, тюльпанов, весело смеясь и разговаривая, бродили гости — князья и княгини, герцоги и герцогини, графы и графини, наряженные древними германцами, римлянами, эллинами, испанцами, венграми, французами, москвитами, голландцами, швейцарцами, турками, армянами, маврами, неграми, китайцами, индейцами, пастухами, солдатами, цыганами, евреями, рабами, трубочистами...

Петр появился в одежде фрисландского крестьянина, которую привез с собой из Голландии. Он быстро прошел к своей *подруге*

³¹ *Vivat Zar Petrus Alexiowez* — «Да здравствует царь Петр Алексеевич».



(на этот праздник гости обязаны были являться парами; подругой царя, к зависти других дам, была фрейлина фон Тури) и открыл бал. Веселились на славу: ужин и танцы затянулись до полудня. Вечером Петру был прислан в подарок бокал, из которого он пил, — стоимостью в две тысячи гульденов, и три лошади в богатом убранстве из императорской испанской конюшни.

Утром 15 июля все было готово к отъезду в Венецию: сундуки упакованы и привязаны к каретам, волонтеры сидели в экипажах. После короткой прощальной аудиенции у императора Петру подали почту из Москвы. Как обычно, первым он вскрыл конверт от князя-кесаря. Пробежал глазами строчки — и вдруг лицо его перекосила судорога, голова затряслась. Ромодановский сообщал, что возмутились стрелецкие полки, стоявшие на литовской границе, — прогнали полковников, захватили пушки, снаряды, казну и идут на Москву. Петр быстро посмотрел на дату — письмо было отправлено из Москвы почти месяц назад. Да царь ли он еще?

Он опрометью вскочил в карету. Венеция, галеры, море — все к черту! Проклятое милославское семя — все растет, множится! Вырвать, вырвать с корнем!

Послышались крики возниц, защелкали кнуты, и царский поезд тронулся — не на юг, а на север: в Москву.

В конце мая, когда после неудачной попытки эскадры принца де Конти высадить десант в Данциге отпала необходимость в военной помощи Августу, в четырех стрелецких полках, стоявших возле Великих Аук, в Торопце, был зачитан приказ из Стрелецкого разряда: идти им на службу в Вязьму, Дорогобуж и Ржев, а бегавших на Москву выдать воеводе боярину Михаилу Григорьевичу Ромодановскому для розыска. Стрельцы, с нетерпением ждавшие возвращения в Москву, заволновались: значит, правду говорили знакомые подьячие, что им Москвы век не видать!

Беглецы и вовсе расходились, связать себя не дали, — разломали изгороди и отбились дубьем и дрекольем. Затем, собравшись с однополчанами в буйное скопище перед двором полковника Афанасия Чубарова, стали кричать: для чего им боярин царского указу не читает? Указ из Разряда сочинили, мол, удумав,



бояре, о государе же ничего не слышно, где он ныне. Сходка закончилась дружными призывами:

— Пойдем к Москве! Умрем друг за друга, бояр перебьем, Кукуй вырубим, а как будем на Москве, нас и чернь не выдаст!

С тем разошлись по своим дворам — разбирать ружья и копья.

Узнав о мятеже, Ромодановский построил Новгородский солдатский полк и объявил стрельцам: пусть выдадут беглецов, тогда остальным ничего не будет. Стрельцы, посоветовавшись, ответили: выдать мочи нет! Да и воров никаких среди них нет, а что некоторые ходили к Москве — так то от нужды и бескормицы. Все же скрепя сердце решили пойти в назначенные города. Беглецы, отделившись от полков, двинулись вслед за ними.

На службу стрельцы не торопились — делали в день верст пять. Каждый вечер московские беглецы приходили в круги и твердили свое: государя нет, а бояре их всех повывести хотят. На берегу Двины стрелец Маслов забрался на телегу и громко зачитал воззвание Софьи. Стрельцы всколыхнулись:

— Идем к Москве! Кто к Москве не пойдет, сажать на копья! Если царевна Софья на державство не вступится, по малолетству царевича можно взять и князя Василья Голицына. А государя на Москву не пускать и убить за то, что сложился с немцами и веру их принял, и оттого православие на Руси закоснело!

Тут же собрали круги, отставили старых полковников и капитанов, на их место выбрали новых, взяли казну и пошли к Москве. Теперь уже торопились, чтобы не дать боярам опомниться.

Дорогой очень беспокоились, чью сторону возьмут гвардейские и солдатские полки. Стрелец Пузан тайно пробрался к знакомым солдатам Бутырского полка проведать, что у них делается. Бутырцы почесали в затылках: «Нам об вас заказ крепкий, и с вами нейдем, дела до вас нам нет, а вы как хотите». Тогда решили: если встретятся солдаты, обойти Москву и засесть в Серпухове или Туле, а оттуда писать в Азов и Белгород к своей братии стрельцам, чтобы шли на помощь не мешкая.

В Боярской Думе о походе стрельцов узнали вечером 10 июня. На ночном совете постановили послать на ослушников воеводу Шеина с московскими ратными людьми и солдатские полки под началом Гордона. 17 июня правительственные войска стали под Тушином, заняли Воскресенский монастырь — и как раз застали стрельцов на переправе через Истру. Гордон вступил с ними в переговоры. Стрельцы передали ему челобитную к Шеину, что



они в Азове терпели всякую нужду, зимой и летом, и в Великих Луках, и в Торопце тож, а теперь идут к Москве, чтобы напрасно не умереть; пусть бояре только дадут им повидаться с женами и детьми, а там они опять рады идти на службу. Да пусть еще государь прогонит от себя Францку Лефорта и других еретиков немцев, которые хотят на Руси веру переменить. Гордон поморщился, однако челобитную передал по команде Шеину. Терпеливый воевода вновь послал его в стан к бунтовщикам сказать, чтобы они возвращались на места и выдали заводчиков, тогда все жалование им выплатят. Но Гордон лишь понапрасну истощил перед стрельцами свой скудный запас русских слов — ему отвечали, что они или помрут, или будут на Москве хотя бы на малое время. На дальнейшие уговоры закричали, что зажмут немцу рот, если он не уедет. Шеин и тут не стал торопить события. Что не удалось иноземцу — удастся русскому. К стрельцам поехал князь Кольцов-Масальский, однако и он услышал то же: жалобы на еретика Францку Лефорта, который побил под Азовом зря множество стрельцов, а теперь, слышно, всему народу чинит наглость — знатно последует брадобритию и табаку во всеомертвенное благочестия ниспровержение.

В обоих станах начали готовиться к битве: служили молебны, исповедовались, причащались; стрельцы давали клятву помереть друг за друга безо всякой измены. Шеин в последний раз прислал им сказать, чтобы положили оружие и в винах своих били челом государю, иначе наведут на них пушки. Стрельцы, смеясь, прогнали гонца:

— Мы того не боимся, видали мы и не такие пушки!

Шеин распорядился для страха дать залп поверх их голов. Но стрельцы обрадовались «промаху», кинули шапки вверх, распустили знамена и открыли пальбу. Шеин, покачав головой, велел Гордону стрелять как следует.

Второй залп повалил многих стрельцов в передних рядах. Остальные было позамялись. Сзади стали кричать: «Пойдем против Большого полка грудью напролом, и хотя б умереть, а быть на Москве!» Но тут грянули третий и четвертый залпы — и половина стрельцов бросилась врассыпную; другая половина, оторопев от ужаса, преклонила знамена и молила о пощаде.

К вечеру переловили всех до единого. Начался розыск и пытки жестокие. Многих казнили на плахе и повесили на дороге, других, заковав в кандалы, разослали по дальним



монастырям и тюрьмам. Слабые с пытки винулись в том, что было в Торопце и на Двине, но имя царевны Софьи никто не произнес. На вопрос: «Собою ль они такое воровство учинили или по чьему наущенью?» — все твердили как один, что никакой присылки с Москвы им не было.

Первые три дня после отъезда из Вены Петр скакал день и ночь, останавливаясь только для обеда и смены лошадей. Свита его не превышала десяти человек: Лефорт, Головин, Меншиков, Кикин, переводчик Петр Шафиров и еще несколько волонтеров и посольских слуг. Лишь на четвертые сутки Петр позволил измученным людям остановиться на ночлег в предместье Кракова: курьеры привезли ему почту с известием, что стрелецкий бунт подавлен.

Теперь он не спешил, снова превратившись в туриста, не желавшего упустить ни одной достопримечательности. В Величках спустился в соляные копи и даже там заночевал.



Август II.
Неизвестный
художник,
начало XVIII века



В Галиции, в местечке Рава Русская, царя дожидался Август, шедший с саксонскими войсками под Каменец, на татар. Петр много слышал о саксонском курфюрсте, которому помог стать польским королем, но видел его впервые и с первого взгляда залюбовался им. Несмотря на то что они были однолетки, царь сразу признал первенство блестящего саксонца. Немного уступая в росте, «германский Самсон» почти вдвое превосходил узкогрудого Петра шириной плеч. Царь смотрел на атлетическую фигуру Августа с искренним восхищением. Вот это мужчина! И какой талант!

Куда там бедному Лефорту: по сравнению с изысканным в манерах и беседе польским королем его любезный друг — просто неотесанный мужик. Петру были известны истории о бесчисленных любовных похождениях Августа. Ради него темпераментные испанки подставляли грудь под кинжалы своих мужей, томные венецианки прогоняли своих чичисбеев; очаровательные парижские вакханки забывали свет и на несколько дней уединялись в жарко натопленном будуаре, уставленном лавровыми и лимонными деревьями, чтобы насладиться взор античными пропорциями воскресшего Геркулеса. Ходили упорные слухи о 354 внебрачных детях саксонского курфюрста.

Жизнерадостный и любознательный московский царь также пришелся ко двору. Петр умел повеселиться, Август умел повеселить. Правда, Петр не разделял страсти Августа к охоте (король слыл непревзойденным охотником: только в Саксонии его охотничьи трофеи насчитывали сто тысяч животных, в том числе две тысячи волков и медведей), зато оба чтили Марса и не давали спуску Бахусу. Трое суток они не расставались друг с другом ни днем, ни ночью, чередуя смотры саксонским войскам с умопомрачительными попойками, на которых главную роль играл сокрушительный литровый кубок Большого Орла. Разгоряченный вином, король демонстрировал свою силу: руками ломал подковы, свертывал в трубку серебряные тарелки и талеры. Однажды, когда он, решив подтвердить приобретенную в Испании славу искусного и ловкого тореро, одним ударом сабли снес голову буйволу, Петр не выдержал и велел подать сверток материи и кортик. Подбросив сверток в воздух, он молниеносным ударом рассек его пополам и потом с довольной улыбкой наблюдал за уязвленным королем, безуспешно пытавшимся проделать то же самое. Да, любезный брат Август, и мы не лыком шиты.



Оставшись наедине, они говорили о политике, делились своими неприятностями. Август жаловался на строптивость поляков, происки примаса, продолжавшего интриговать против него. Сам черт дернул его добиваться польской короны! Он привык иметь дело с дисциплинированными немцами, а не с толпами голозадой шляхты, на каждом углу кричащей о своей вольности. Он клянется Богом — они видят в нем не государя, а врага, посягнувшего на их права и привилегии. А ведь он пожертвовал для них своей совестью и своим семейным счастьем: его жена, узнав о принятии им католичества, отказалась принять титул польской королевы и следовать за ним в Варшаву. В этой дьявольской стране анархии и хаоса он один, совершенно один и может полагаться только на своих верных саксонцев. Сейм требует от него выполнения обещания о возвращении Лифляндии Речи Посполитой и в то же время не дает ни одного солдата. Извольте с такими помощниками брать Ригу и воевать со Швецией!

Упоминание о северном соседе всегда вызывало у Августа улыбку, и он со смехом принимался рассказывать веселые истории о своем двоюродном брате короле Карле³². Забавный малый. Забил себе голову рыцарскими романами и древними преданиями о деяниях викингов. Бредит военными подвигами, а время убивает в мальчишеских проказах. Шведы знают: если ночью в стокгольмских домах дребезжат и валяются стекла — это потешается молодой король. Кто едет днем по улицам с шумом и гамом в одних рубашках? Молодой король со своей свитой. Кто охотится за зайцем в сеймовой зале? Молодой король. Саксонский резидент в Стокгольме сообщил, что недавно любезный братец вместе со своим зятем герцогом Голштинским залили кровью весь дворец: заспорили об искусстве владения саблями и целый день занимались тем, что без отдыха рубили головы баранам и телятам, приводимым в королевские комнаты, а головы выкидывали в окна, на улицу. В одно воскресенье три проповедника в трех стокгольмских церквях говорили проповедь на один библейский текст: «Горе стране, в которой царь юн!» А вот охотник этот юноша и вправду недурной. Говорят, из подражания викингам запретил употреблять на охоте огнестрельное оружие и выходит на медведя один, оглушая его

³² Матери Карла XII и Августа I, датские принцессы, были сестрами.



ударом дубины. Кстати, он также неплохой наездник, но и тут не знает меры: однажды взобрался на такой крутой склон, что опрокинулся навзничь вместе с лошадьёю. В общем — сорвиголова, ветрогон и ничего более.

Так вот, о Риге. Можно ли ему, королю, оставленному своими подданными, рассчитывать в этом вопросе на помощь великодушного и верного друга, московского царя, однажды уже оказавшего ему дружескую услугу? Вознаграждением за небольшую совместную военную прогулку под стены Риги будет возвращение Москве Ижорских земель.

Петр крутил ус, прикидывал. Что ж, он с удовольствием забросит в Ригу сотню-другую бомб, чтобы проучить тамошних наглецов и вымогателей и напомнить этому старикашке Дальбергу о законах гостеприимства. Ижоры, конечно, будет мало-вато — ему нужны Нарва, Ревель, Дерпт, выход к морю (впрочем, это будем иметь про себя). Пока не заключен мир с турками, о письменном союзе говорить не приходится, но его брат король Август может во всем положиться на него: вот его слово, рука и сердце.

4 августа, обменявшись на прощание платием, шляпами и шпагами, они расстались закадычными друзьями.

Въехав в российские пределы, Петр снова погнал, не останавливаясь. Чтобы развлечься, в дороге читал книгу сербенина Юрия Крижанича «Политичные думы», купленную в Польше. Имя автора ему ни о чем не говорило, но книга захватила его с первых страниц. Неизвестный сербенин крепко верил в будущее России и всего славянства; несмотря на это, его наблюдения и размышления были горьки и подчас жестоки.

Мудрость, писал он, попеременно возделывается сменяющимися на лице земли народами, науки и искусства переходят от одних народов к другим: от египтян к грекам, от греков к римлянам, от римлян к нынешним европейцам. Россия — на ближайшей очереди. Никто не скажет, будто нам, славянам, каким-то небесным роком заказан путь к наукам. Более того, именно теперь и настало время нашему племени учиться: теперь на Руси Бог возвысил славянское царство, какого по силе и славе никогда еще не бывало среди нашего племени; а такие царства — обычные рассадники просвещения. Значит, и нам надобно учиться, чтобы под властью московского царя стереть с себя плесень застарелой дикости, надобно обучиться наукам,



чтобы начать жить более пристойным общежитием и добиться более благополучного состояния. Но этому мешают две беды, две язвы, которыми страдает славянство: чужебесие — бешеное пристрастие ко всему чужеземному и, как следствие этого порока, чужевладство — иноземное иго, тяготеющее над славянами. Ни один народ под солнцем не был так изобижен и посрамлен от иноземцев, как мы, славяне, от немцев; затопило нас множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше того — сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают, себя считают словно богами, а нас дураками. Что ни выжмут страшными налогами и притеснениями из слез, потов, невольных постов русского народа, все это пожирают иноземцы, купцы греческие, купцы и полковники немецкие, крымские разбойники. Все это от чужебесия: всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их и превозносим, а свое домашнее житье презираем.

А с другой стороны — как его не презирать? Если что и процветает в России пышным цветом, так это невежество — оттого-то никак не можем из бедности выбиться. Там, в Европе, разум у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, процветает морская торговля, земледелие, ремесла. Россия же заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, не производится ценных и необходимых изделий. Здесь ум у народа косен и туп, нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. В Боярской Думе бояре, брады свои уставя, на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать не могут, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные. Подобно им, и другие русские люди породю своею спесивы и непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго дела не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась, что, узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благую,



начнут свою веру бросать и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не будут иметь и мыслить. Истории, старины мы не знаем и никаких политических разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается и в некрасивом покрое платья, и в наружном виде, и во всем быту: нечесанные головы и бороды делают русских мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и оба-два пальца в ней окунул. В иноземных газетах пишут: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобные: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма. Всюду пьянство, взаимное людодерство, отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши вояки ежели побегут, так уж бегут без оглядки — бей их, как мертвых. Великое наше лихо — неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в одной стороне вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой — чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Даже у магометан русским есть чему поучиться: трезвости, справедливости, храбрости и стыдливости.

Так какое же место занимают русские среди других народов, задавал вопрос Крижанич и отвечал: наш народ — средний между людскими, культурными народами и восточными дикарями и, как таковой, должен стать посредником между теми и другими. Мы и Европа — два особых мира, две резко различные человеческие породы. Европейцы наружностью красивы и потому дерзки и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость; мы ни то ни се, люди средние обличьем. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они речисты, смелы на язык, на речи бранные, колкие. Мы косны разумом и просты сердцем; они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем; они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как



бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам; они промышленны, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы — обыватели убогой земли; они — уроженцы богатых, роскошных стран и на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем: поссоримся и помиримся; они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, вовеки искренно не помирятся, а помирившись, всегда будут искать случая к отмстке.

Но дано России одно спасительное средство, которое может в один час все исправить и к просвещению Россию повернуть, — самодержавие: царским повелением можно завести все полезное, а в иных землях это было бы невозможно. «Ты, царь, — с горящими глазами читал Петр, — держишь в руках чудотворный жезл Моисеев, которым можешь творить дивные чудеса в управлении: в твоих руках полное самодержавие».

Прав сербенин! Хотя и весьма досадителен, а прав. Ныне он и сам знает, что имеет дело не с людьми, а с животными, которых надо переделать в людей. И он переделает их на свой лад! Благодарение Богу, жезл Моисеев еще крепок в его руках...

Петра в Москве не ждали и потому не встречали. Утром 26 августа по городу разнеслась весть, что накануне из-за границы вернулся царь и, не заезжая во дворец и не повидав жену с сыном, прямоком направился к своей Монсихе; вечерял у Лефорта, ночевать уехал в Преображенское.

Ближние бояре толпой повалили на поклон государю.

Петр почти не спал. По приезде он первым делом потребовал розыскные листы о стрелецком бунте и читал их всю ночь. В нем закипало возмущение против Ромодановского и Шеина, так скоро закончивших розыск и казнивших зачинщиков. А где в показаниях имя Софьи — она что, все это время Богу молилась? Да он в жизнь не поверит, что такое дело обошлось без участия милой сестрицы! С еле сдерживаемой злобой прочитал он стрелецкую челобитную со злыми выходками против Лефорта и немцев, которые бреют бороды. Не в Лефорта — в него метили воры. Ну что ж, он покажет им их бороды! И не им одним — что взять с темных дураков, если даже Ромодановский не хотел



верить, что Головин в Вене явился на прием к цесарю с бритым подбородком, — писал, что посол, видно, сошел с ума? Нет, пора становиться людьми, принимать человеческий образ.

Он вышел к боярам взвинченный и раздраженный. Широкий польский кафтан, подаренный Августом, висел на нем, длинная шпага волочилась по полу. В руках у него были ножницы. Подходя по очереди к каждому из гостей, он здоровался, кое-кого обнимал, целовал — и между делом обрезаывал бороды. Бояре не смели шелохнуться, принимая бесчестье от царских рук, у многих в глазах стояли слезы. А Петр как ни в чем не бывало рассказывал о своем путешествии, о встрече с польским королем.

— Короля люблю, как брата, больше всех вас, — говорил он, — не потому, что он король, а потому, что мне нравится его персона. Поляки же ни к черту не годятся.

Пощадил только двух заслуженных старцев — боярина Стрешнева и князя Черкасского.

Чувствуя всеобщее молчаливое осуждение и неприятие, царь срывался по самому ничтожному поводу. На обеде у Лефорта обозвал дураками польского и датского послов, заспоривших о местах. Желая поглубже уязвить поляка, хлопнул себя по животу и громко заметил:

— Я было потолстел в Вене от жирной пищи, но нищая Польша сняла весь жир.

Обиженный поляк вступился за матку-отчизну:

— Я родился и вырос в Польше, однако зажилел.

— Ты зажилел не в Польше, — усмехнулся Петр, — а здесь, в Москве.

Зазвучавшие отовсюду тосты на какое-то время внесли в беседу умиротворение. Бояре, трогая остриженные бороды, пытались поскорее утопить свое горе в вине. Но вот перебравший Шеин неосторожно расхвастался, как быстро у него в полку происходит продвижение по службе — иные солдаты через полгода надевают офицерский темляк! Петр побагровел. Это за какие такие заслуги? Офицерский диплом — за взятку? Шеин прикусил язык, но было поздно. Все более распаляясь, Петр выбежал в сени, чтобы спросить караульных солдат, сколько рядовых в Шеинском полку произведено в офицеры. Вернулся с перекошенным лицом и обнаженной шпагой. Рубанул по столу перед Шеиным: «Так поражу и истреблю твой полк!» Ромодановский, Зотов и Лефорт бросились успокаивать



его, но Петр в неистовстве размахивал шпагой, никого не подпуская к себе: Зотова оглоушил плашмя по голове, князю-кесарю порезал пальцы, Лефорта свалил с ног ударом эфеса в спину. Шеин не чаял остаться в живых, но тут на плечах у царя повис Меншиков, что-то зашептал в ухо, поволок в соседнюю комнату. Когда через несколько минут они вновь появились в зале, Петр был спокоен и весел, извинился перед компанией за вспышку гнева, чокнулся с Шеиным и другими. Бояре дивились на Меншикова, сидевшего в обнимку с царем: уехал Алексашкой, вернулся Данилычем — чудеса! Да, жизнь не стоит на месте.

1 сентября, на пиру по случаю празднования Нового года, кремлевский дворец переполнился гостями — были ближние и думные бояре, духовенство, выборные от московских сотен. Петр со всеми был ласков, жаловал по обычаю яблоками из собственных рук, шутил, смеялся и поднимал тост за тостом при залпах 25 орудий. Многие, прослышав о царском гневном на бороды, явились на пир бритыми; недогадливым и упорствующим царский шут Яков Тургенев резал бороды прямо за столом при громком хохоте безбородых, утешавших себя чужим горем. Купцы и посадские трясущимися руками совали обрезанные бороды за пазуху и, вернувшись домой, прятали их до срока под замок в сундуки, — чтобы хоть в гроб лечь как подобает христианину.

Патриарх Адриан немедленно выпустил грозное послание против брадобрития, еретического безобразия, уподобляющего человека усатым котам и псам. Владыка страдал православных вопросом: если они обреют бороды, то где станут на Страшном суде — с праведниками ли, украшенными бородами, или с обритыми еретиками? Москва плакала и молилась.

Тем временем в Преображенский тайный приказ свозили разосланных по округе стрельцов — на новый розыск, с участием самого царя. «Я допрошу их построжее вашего», — говорил Петр Гордону. В четырнадцати Преображенских застенках запылали костры: здесь с утра и до позднего вечера следователи из царской компании парили стрельцов горящими вениками, тянули из них жилы на дыбе, сдирали кнутах мясо до костей — и записывали, записывали показания, стремясь найти улики против Софьи. Важнейших воров Петр допрашивал сам. Но стрельцы — с допроса ли, с дыбы, с кнута — стояли на своих прежних показаниях: шли к Москве от голоду и скудости, хотели повидаться



с женами и детьми, более ничего не ведают. Ничего не добившись, ночью Петр выходил из застенка, осатаневший от криков, стонов, крови, наливался вином в компании и без памяти падал в кровать... А едва рассветало, вновь шел в застенок — рвать и жечь проклятое милославское семя.

Наконец повезло: один стрелец с третьего огня признался, что было к ним послано от царевны Софьи письмо, которое Тума принес из Москвы в Великие Луки. Постепенно ниточка довела до стрельчих, передававших письма, — они были пытаны и также во всем признались.

Следствие шло, а вокруг Белгорода и Земляного города, у ворот Девичьего монастыря и возле съезжих изб возмущившихся полков уже начали ставить виселицы. Их количество поразило москвичей. Господи, спаси и помилуй, неужто казнят всех поголовно? Патриарх Адриан поднял икону Богородицы и отправился в Преображенское печаловаться за осужденных. Завидев его издали, Петр выскочил на крыльцо:

— К чему эта икона? Разве твое дело приходить сюда? Убирайся живее и поставь икону на место! Быть может, я побольше твоего почитаю Бога и Пресвятую Матерь Его. Я делаю богоугодное дело, казня злодеев!

Патриарх вынужден был повернуть назад.

27 сентября Петр появился в Новодевичьем монастыре, выложил на стол перед Софьей показания стрельцов и стрельчих. Ну, что она на это скажет? Стараясь не выдать своего волнения, Софья медленно перебирала допросные листы. Лицо ее все более прояснялось, становилось властным, надменным. А грамотки-то ее стрельцам, улики наипервейшей, — нету! Оторвавшись от бумаг, она спокойно сказала, что никаких писем стрельцам не посылала; а что стрельцы хотели звать ее на царство, то не по ее письму, а звать, потому что она семь лет была в правительстве. Петр в гнев выбежал из кельи.

Ждать окончания следствия уже не имело смысла. Он распорядился начать расправу.

30 сентября полторы сотни телег потянулись из Преображенского в Белгород, к Покровским воротам, где толпилось несметное количество народу. В каждой телеге сидели по два стрельца в грязных, окровавленных, прожженных исподних рубахах; в руках у них горели свечи. Их жены, матери, дети с воплями бежали за телегами. У Покровских ворот на коне



восседал Петр, одетый в зеленый польский кафтан; его окружала свита из бояр, иностранных послов и резидентов. По знаку царя думный дьяк зачитал смертный приговор. Осужденных потащили на виселицы; кроме того, их вешали на бревнах, просунутых сквозь зубцы стен Белгорода. В этот день казнили 201 человека, причем оказалось, что осужденных было на пять человек меньше, чем значилось в приговоре: этим пятерым царь собственноручно отрубил головы в Преображенском. Сто стрельцов, возрастом от 13 до 20 лет, были помилованы: их били кнутом, заклеили в правую щеку и сослали в дальние города.

11 октября открылись новые казни: повесили 144 человека; на другой день — 205, на третий — 141. 17 октября 109 осужденным рубили головы. Петр по очереди посылал своих приближенных орудовать топором. Опытный князь-кесарь отрубил четыре головы, князь Борис Алексеевич Голицын по неумению едва справился с одним стрельцом, Меншиков не выпускал топора из рук и вечером хвастался, что отрубил головы 20 стрельцам, а одного, распластанного на колесе с переломанными руками и ногами, застрелил из пистолета. После каждой отрубленной головы боярам подносили от царя стакан водки. Петр с лошади наблюдал за работой своей компании и сердился, когда замечал, что у некоторых бояр трясутся руки. Один Лефорт благополучно уклонился от упражнений в палачестве, сказав, что в его землях это не принято.

18 октября казнили 63 человека, 19-го — еще 106. Стрельцы не сопротивлялись. Только некоторые кричали оторопевшему от ужаса народу, показывая на царя:

— Он не одних нас — весь народ переведет!

Все эти дни Петр находился на грани нервного срыва. Во время попок у него внезапно холодел живот, начинались судороги в желудке, по телу пробегала дрожь, тик в щеке делал его лицо безобразным и страшным. По ночам он дергался в таких конвульсиях, что Меншиков должен был ложиться рядом с ним и держать его за плечи — только так он мог забыться коротким сном. Он набрасывался на самых близких и доверенных лиц. Заметив на одной из пирушек, что Меншиков танцует при сабле, подбежал к нему и кулаком в кровь разбил нос; в другой раз, припомнив Лефорту его отговорки, повалил любезного друга на землю и топтал ногами.



Во второй половине октября казни прекратились. Софью постригли под именем Сусанны и оставили в Новодевичьем монастыре под строжайшим караулом. Под окнами ее кельи 195 повешенных стрельцов держали всунутые им в руки списки с их челобитной.

Москвичи ходили пришибленные, шептались: не одни стрельцы пропадают, плачут и царские семена. Царевна Татьяна Михайловна жаловалась на боярина Стрешнева, что он царевен поморил с голоду. А младой царевич ей сказал: «Дай-де мне сроку, я-де их приберу». Государь немцев любит, а царевич не любит. Приходил к нему, царевичу, немчин и говорил неведомо какие слова, и царевич на том немчине платье сжег и того немчина опалил. Немчин государю на царевича жаловался, а государь ему сказал: «Для чего-де ты к нему ходишь? Покамест я жив, потамест и вы».

За всеми этими событиями мало кто заметил, что по распоряжению Петра была сослана в Суздальский Покровский монастырь царица Евдокия; царевича Алексея отняли от матери и отвезли к тетке, родной сестре царя, царевне Наталье Алексеевне. Посмотрев на европейских дам, Петр застыдился своей супруги. Ведь ни слова сказать, ни шагу ступить в компании не умеет. С такой женой опозоришься перед Европой. Нет, ему нужна такая супруга, чтобы умела и беседу поддержать, и на балу станцевать. Словом, лучше его Анхен царицы и не сыскать.

До конца года Петр еще успел слетать в Воронеж, где пробыл до декабря. К Рождеству он вновь был в столице и на Святках раскатывал по городу в компании славильщиков, стоя на запятках саней князя-папы, запряженных свиньями. Затем весь январь провел в Преображенских застенках, пытая оставшихся стрельцов, а в феврале вновь казнил их сотнями и упражнялся в палаческом ремесле. Наконец в конце зимы велел вывезти заледеневшие трупы из Москвы.

В феврале же был отстроен великолепный дворец Лефорта. Готовилось большое торжество для открытия и освящения этого «храма». В воскресенье 19 февраля ко дворцу потянулся санный поезд всепьянейших соборян, кативших на собаках, свиньях, козах, медведях. Первым порог дворца переступил всешутейший



Зотов: облаченный в рясу, украшенную изображениями Бахуса, Венеры и Купидона, с жестяной митрой на голове, он окрестил помещения сложенными крест-накрест длинными трубками. Веселые соборяне несли за ним чаши с хмельными напитками и сосуды с курящимися табачными листьями. Радужный хозяин угощал на славу; вскоре в палатах стало слишком жарко, гости повалили на улицу, и пир закончился ясной ночью, под открытым небом, усеянным звездами.

Петр прямо с пира снова покатил в Воронеж и через три дня был на верфи, но пришлось тут же ехать назад — его догнало известие о кончине Лефорта. Пиршество на морозном воздухе убило бесшабашного женева — он подхватил горячку и наутро в беспамятстве слег в постель. Кровопускание не помогло. Когда стало ясно, что надежды нет, позвали пастора, но Лефорт в бреду отгонял его прочь, требуя вина и музыкантов. Врачи разрешили пригласить трубачей и флейтистов. Услышав звуки музыки, больной успокоился, пришел в себя и спустя некоторое время умер умиротворенный, примирившийся с Богом и людьми.

Петр был убит печальной вестью. Погребение он обставил такими почестями, каких прежде не удостаивался ни один вельможа. Траурную процессию открывала первая рота Преображенского полка, во главе которой шествовал царь. За преображенцами следовали Семеновский и Лефортский полки, далее рыцарь в черных одеждах с обнаженным мечом, острием вниз; за ним полковники несли гроб с телом Лефорта. Другие офицеры шли за гробом, неся на бархатных подушках золотые шпоры, пистолеты, шпагу, трость и шлем покойного. В реформатской церкви пастор Стумпфиус произнес пышную надгробную речь на слова Евангелия: «Несть человека, владущего духом, еже возбранити духу, и нет владущего в день смерти». Перед тем как гроб опустили в могилу, Петр, громко рыдая, долго лобызал холодный накрашенный лик любезного друга.

Едва царь оплакал кончину Лефорта, как осенью, в холодный ноябрьский день, умер Гордон. За два года до смерти, на 64-м году жизни, он закончил свой дневник словами: «На этих днях я заметил в первый раз уменьшение здоровья и сил». Петр успел проститься с ним и сам закрыл умершему глаза. Похороны Гордона по торжественности не уступали Лефортским.



После свидания с Августом в Раве Русской взоры Петра уже устремились на Балтику, но руки все еще были связаны войной с Турцией. Несмотря на то что собственно военные действия прекратились и в городе Карловицах начал работу мирный конгресс с участием всех воюющих сторон, русским послам Возницыну и Украинцеву никак не удавалось добиться от султана выгодных для России условий, и со дня на день можно было ожидать возобновления войны.

Летом 1699 года Петр ездил в Азов осматривать флот, а когда осенью вернулся в Москву, нашел здесь два посольства: одно предлагало мир, другое войну.

Мир предлагали шведы. Осенью прошлого года решением шведского риксдага шестнадцатилетний наследник престола Карл был освобожден от опеки бабки и провозглашен королем и сувереном. Вследствие этого в Москву были посланы канцлер Бергенгельм, губернатор Линдгельм и королевский секретарь Гёте, чтобы добиться подтверждения Кардисского трактата.

Другое посольство состояло из доверенных лиц Августа: генерала Карловича и лифляндского дворянина Иоганна Рейнгольда фон Паткуля. Последний, будучи непримиримым врагом шведов, приобрел особенно большое влияние на короля. Родившись шведским подданным, Паткуль служил офицером в рижском гарнизоне. Крутой поворот в его судьбе произошел в 1692 году, когда лифляндское рыцарство выступило против проводимой шведским королем Карлом XI редукции³³. В Лифляндии, где у множества дворян документы на право владения землей были утеряны в многочисленных войнах, редукция проводилась со страшными злоупотреблениями. В конце концов рыцарство обратилось к Карлу XI с просьбой остановить волну конфискаций поместий и земель, ибо, писали они, страна доведена до такого отчаяния, «что если бы Богу угодно было предоставить ей на выбор опустошительное нашествие неприятеля или постигшее ее нестерпимое угнетение, то едва ли не избрала бы она скорее первое, чем второе несчастье». Это прошение повез в Стокгольм Паткуль, получивший от короля охранный лист. Однако королевская комиссия,

³³ Редукция — королевская конфискация у шведских и прибалтийских дворян коронных земель, захваченных и присвоенных ими ранее, в годы малолетства королевы Христины и Карла XI.



назначенная для рассмотрения этого дела, сочла подателей прошения бунтовщиками, и Паткулю пришлось бежать из Стокгольма. Королевский суд заочно приговорил его к лишению чести и отсечению правой руки и головы.

С тех пор Паткуль путешествовал по Европе, вынашивая планы мести. Осенью 1698 года он явился в Варшаву и представил Августу детально расписанный проект военного союза Дании, Польши, Саксонии и России против Швеции. Он надеялся вернуть Лифляндию под власть Речи Посполитой с восставлением прав и привилегий рыцарства. Августа не пришлось долго уговаривать. Паткуль убедил его, что начать войну можно силами одних саксонских войск — с взятия Риги, где, по его словам, у него было много сторонников; а там — успехи королевского оружия вынудят сейм поддержать короля силами Речи Посполитой. Примас за сто тысяч талеров согласился содействовать этому плану. Не остался в стороне и датский король Фредерик IV, надеявшийся поживиться за счет голштинского герцогства. Дело было за Россией.

Не имея никаких утешительных известий из Карловиц, Петр вступил в переговоры сразу с обоими посольствами: в Посольском приказе Лев Кириллович вел речи со шведами о подтверждении мирного трактата, а в Преображенском царь тайно принимал генерала Карловича и Паткуля. Шведским послам было сказано, что государь Кардисский договор намерен соблюдать; Карловича Петр заверил, что вторгнется в Ингрию и Карелию не позже апреля 1700 года.

В народе недоумевали: два главных немца умерли, а богомерзкие новшества не прекратились. В конце 1699 года приказано было вести летосчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова и Новый год отмечать не 1 сентября, а 1 января, для чего после церковной службы всем домовладельцам украшать ворота сосновыми и можжевельновыми ветвями, зажигать во дворах костры и смоляные бочки и стрелять из ружей и пистолей в небо. Так и пришлось через четыре месяца после одного Нового года праздновать другой. А 4 января на воротах Кремля, в Китай-городе, Чудовом монастыре и других людных местах прибили листы с царским указом: боярам и прочим думным чинам, всем



служилым, приказным и торговым людям, oprичь духовного чина, извозчиков и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое. Тут уж напала скорбь и туга великая: что ж это, совсем нас хотят в немцев переделать? Сменил кафтан — сменишь и веру.

Стали думать: да в немцах ли дело, может, царь у нас порченый? Да русский ли он вообще? Не сын ли поганого еретика Лаферта? Раз, на портомойне в Москве, бабы возопияли: какой он царь! Родился от немки беззаконной, он подмененный, подкидыш. Как царица Наталья Кирилловна отходила с сего света, и в то число она говорила ему: ты-де не мой сын, ты подмененный, родила я девочку, а ее подменили немчонком, а тот немчонок ты и есть. И верно: вот велит носить немецкое платье — знатно, что от немки родился!

Кое-кто и после того думу свою о царе не оставил. И дознался. Был у нас царь Петр, природный государь, благочестивый отрок. Уехал он по своим государским делам за границу — это так. Да он ли возвратился из-за границы? Заметь, православные, коли умишко есть: царь начал заводить новшества, бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою Евдокию Федоровну отставил, проклятый табак курить велел — все по возвращении из чужих краев. А все потому, что с настоящим государем случилась беда. Как был он с ближними людьми за морем и пришел в Стекольное царство, а то Стекольное царство держит девица, и та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с той сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей говорить тамошние князья и бояре: пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Она им сказала: подите посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей: томен, государыня. Ну, коли томен, так вы его выньте. И они, его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, замыслив измену, сделали бочку, набили в нее гвозди да в ту бочку государя положили и бросили в море. А вместо природного государя привезли в Москву немчина, чтобы он всех христиан в веру латынскую окрестил.

А потом один купец рассказал за верное: жив, жив государь! Нашелся тогда при нем верный стрелец, и он о боярской измене царя предупредил и лег ночью на его место. Вот его-то бояре в море и бросили. Москвичи слушали и крестились со слезами. Правда, недоумевали: и как это государь до сей поры не объявится в своем государстве? Пропадает же народ, пропадает держава.